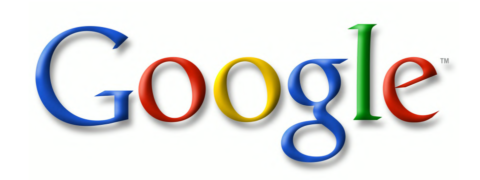
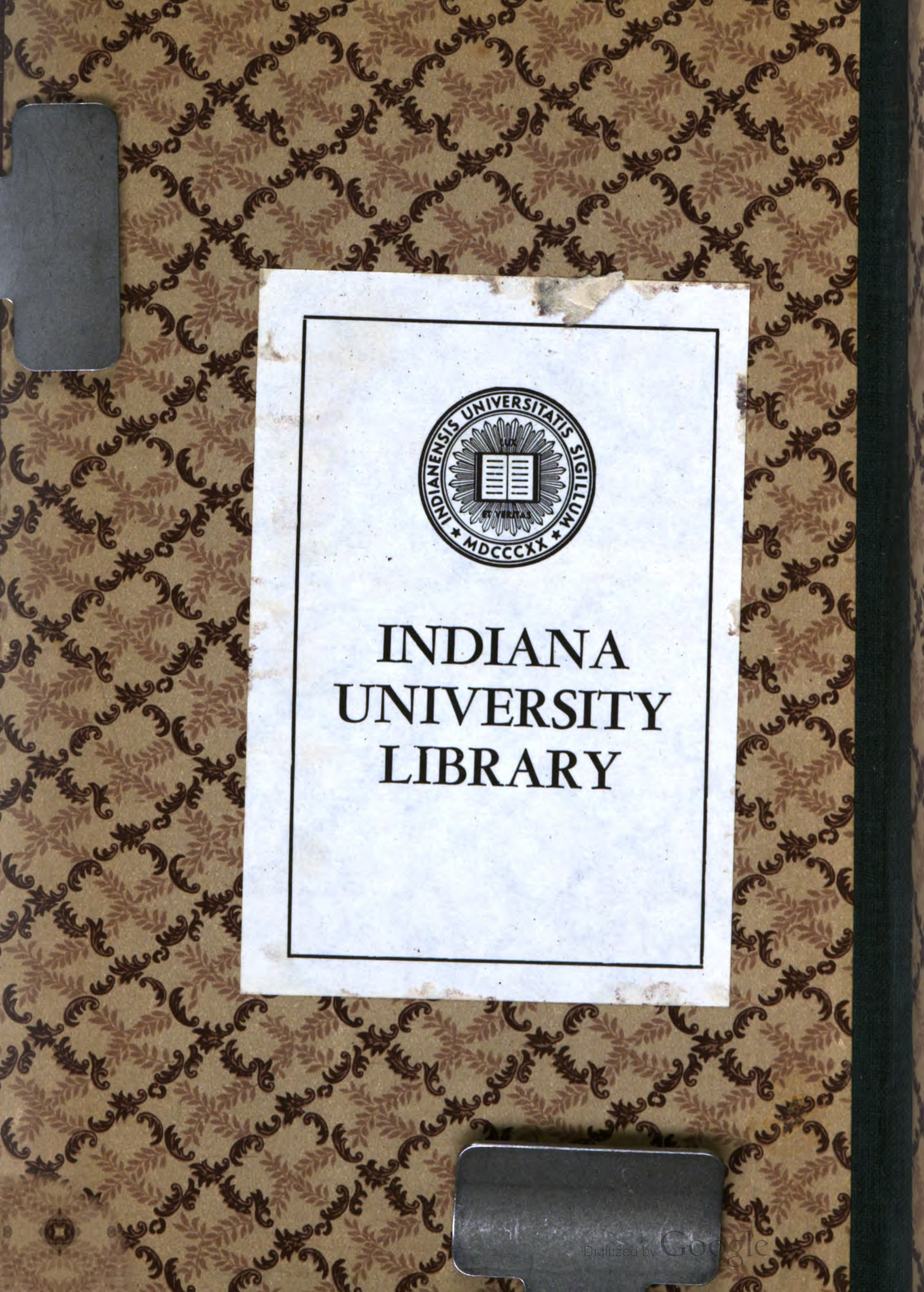
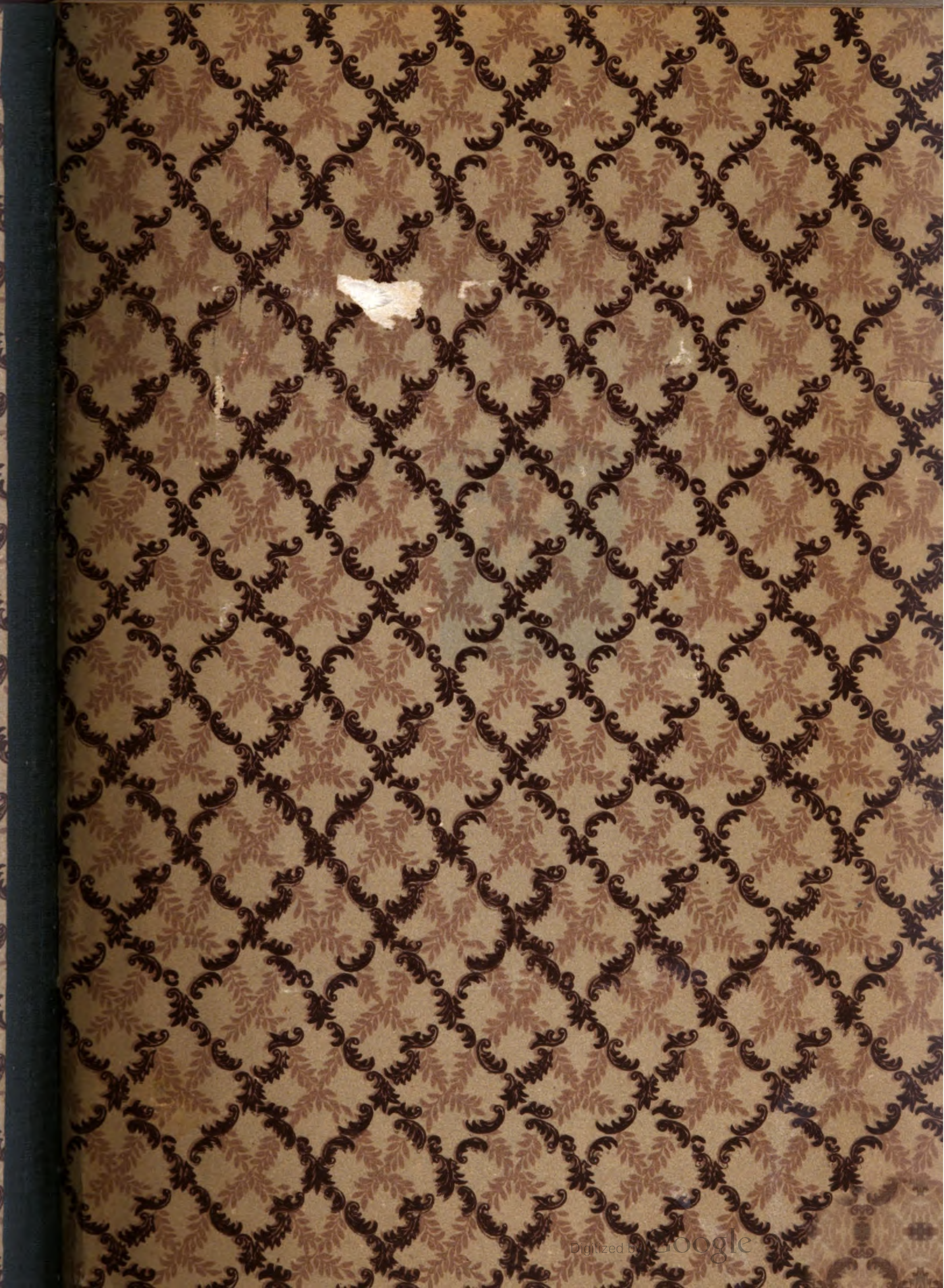


В. ВЕРЕСАЕВ


INDIANENSIS UNIVERSITATIS SIGILLUM
LUX
ET VERITAS
MDCCCXX
INDIANA
UNIVERSITY
LIBRARY
Digitized by Google




ИЗДАТЕЛЬСТВО
НЕДРА

В. В. ВЕРЕСАЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том III

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
„НЕДРА“
МОСКВА—1928

В. ВЕРЕСАЕВ

ДВА КОНЦА

РАССКАЗЫ

ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
„НЕДРА"
МОСКВА — 1928

ОБЛОЖКА РАБОТЫ ХУДОЖНИКА
В. СВИРСКОГО

Москва. Главлит А 21.008. **5.000 экз.**

«Мосполиграф», 16-я типография, Трехпрудный пер., 9.

ДВА КОНЦА

I

КОНЕЦ АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА

I

Был вечер субботы. Переплетный подмастерье Андрей Иванович Колосов, в туфлях и без сюртука, сидел за столом и быстро шерфовал куски красного сафьяна. Его жена, Александра Михайловна, клеила на комоде гильзы для переплетов. Андрей Иванович уж пять дней не ходил в мастерскую: у него отекли ноги, появилась одышка, и обычный кашель стал сильнее. Все эти дни он мрачно лежал в постели, пил дигиталис и придирался к Александре Михайловне. Сегодня отеки совершенно спали, и Андрей Иванович почувствовал себя настолько лучше, что принялся за работу, которую взял с собою из мастерской на дом.

Александра Михайловна с утра зорко следила за его настроением: ей нужно было иметь с ним один важный разговор, и она выжидала для этого благоприятного случая; все время она была очень предупредительна к Андрею Ивановичу, старалась предугадать его малейшее желание.

В комнату вошла шестилетняя Зина, дочь Колосовых, в накинутом на голову большом материном платке. Она передала матери полубутылку коньяку.

— Хозяин велел сказать, что в последний раз дает в долг,— шопотом сказала она, робко косясь на спину Андрея Ивановича.

Александра Михайловна мигнула ей, чтоб она молчала, и стала накрывать на стол. Достала остатки обеда, подала самовар и заварила чай.

— Ну, Андрюша, довольно работать! Иди ужинать.

Александра Михайловна подошла к Андрею Ивановичу и, поколебавшись, поцеловала его в голову: она не была уверена, в настолько ли хорошем расположении Андрей Иванович, чтоб позволить ей это.

Андрей Иванович терпеливо снес поцелуй и пересел к столу. Увидев коньяк, он просиял.

— Вот спасибо, Шурочка, что припасла,—с умилением произнес он.—Недурно коньячку теперь выпить.

Андрей Иванович опрокинул в рот рюмку, с наслаждением крякнул и взял кусок солонины.

— Э-эх! Ей-богу, как выпьешь рюмочку, то как будто душа в раю находится... Дай-ка хрену!

Они стали ужинать. Зина ела молча; когда Андрей Иванович обращался к ней с вопросом, она вспыхивала и спешила ответить, робко и растерянно глядя на отца: вчера Андрей Иванович жестоко высек Зину за то, что она до восьми часов вечера бегала по двору. Вчера всем досталось от Андрея Ивановича: жене он швырнул в лицо сапогом, квартирную хозяйку обругал; теперь он чувствовал себя виноватым и был особенно мягок и ласков.

— Что же это Ляхов не идет?—спросила Александра Михайловна.—Обещал сейчас же с получки деньги занести, а до сих пор нет.

— Ну, где же сразу! Раньше в «Сербию» нужно зайти, выпить. Ему порядок известен.

Пришла от всенощной квартирная хозяйка. Соседка Колосовых, папиросница Елизавета Алексеевна, воротилась с фабрики. Сквозь тонкую дощатую стену слышно было, как она переодевалась.

— Александра Михайловна, можно у вас кипятку раздобыться?— спросила она сквозь стену.

— Пожалуйста, Лизавета Алексеевна!

В комнату вошла невысокая девушка с очень бледным лицом и строгими, неулыбающимися глазами.

Андрей Иванович конфузливо поздоровался. Елизавета Алексеевна сурово пожала его руку и, отвернувшись, заговорила с Александрой Михайловной. Андрей Иванович чувствовал себя неловко: Елизавета Алексеевна была вчера дома, когда он бросил в Александру Михайловну сапогом.

— Вы бы, Лизавета Алексеевна, напились чаю с нами,—сказал он.—Что вам там одним пить.

— Спасибо. Мне еще к завтраму сочинение нужно писать.

— Ну, что сочинение! Напьетесь и сядете писать.

— Я вместе с чаем буду писать.—Елизавета Алексеевна налила в чайник кипятку.—Как ваше здоровье?—спросила она, не глядя на Андрея Ивановича.

— Славу богу, поправляюсь. Хочу в мастерскую итти. В понедельник—сретенье, во вторник, значит, и пойду. Пора, а то все лежу... Вон и жена всякое уважение теряет: сейчас в макушку меня поцеловала, как вам это нравится!

— Это я, любя тебя,—улыбнулась Александра Михайловна.

— А я остался недоволен. Что же это такое, если жена мужа в макушку целует? Это значит—жена выше мужа; ну, а это власть вполне неуместная, хе-хе!

Елизавета Алексеевна ушла. Андрей Иванович потянулся.

— Поработаю еще немножко, пока Ляхов придет. Ты не убирай самовара.

Он сел к столу, поточил нож о литографский камень и снова взялся за работу. Александра Михайловна подсела к столу с другой стороны и стала резать бумагу для гильз. Помолчав, она заговорила:

— К Корытовым в угол новая жиличка в'ехала. Жена конторщика. Конторщик под новый год помер, она с тремя ребятами осталась. То-то бедность! Мебель, одежу—все заложили, ничего не осталось. Ходит на водочный завод бутылки полоскать, сорок копеек получает за день. Ребята рваные, голодные, сама отрепанная.

Александра Михайловна украдкою взглянула на Андрея Ивановича. Андрей Иванович недовольно сдвинул брови: по тону Александры Михайловны он сразу заметил, что у нее есть какая-то задняя мысль.

Она продолжала:

— Говорит мне: то-то дура я была! Замужем жила, ни о чем не думала. Ничего я не умею, ничему не учена... Как жить теперь? Хорошо бы кройке научиться,—на Вознесенском пятнадцать рублей берут за обучение, в три месяца обучают. С кройкой всегда деньги заработаешь. А где теперь учиться? О том только и думаешь, чтоб с голоду не помереть.

Андрей Иванович с усмешкою спросил:

— Тебе-то какая печаль? Все сплетни в домах знаешь, кто что делает. Настоящая гаванская чиновница! Видно, самой делать нечего.

— «Какая печаль»... Будет печаль, как самой придется бутылки полоскать,—сказала Александра Михайловна, понизив голос.

Андрей Иванович выдохнул воздух через ноздри и взглянул на Александру Михайловну.

— Послушай, Саша, опять ты этот разговор заводишь?—угрожающе произнес он.—Я тебе уж раз сказал, чтоб ты не смела со мной об этом говорить. Я это запретил тебе, понимаешь ты или нет?

— Андрюша, ну, ты подумай же сам! Ты вот все хвораешь,— ведь не ровен час, все может случиться. Куда я тогда денусь и что стану с ребенком делать?

— Ах, оставь ты, пожалуйста, свои глупости! Ты все хочешь доказать, что у меня чахотка. Никакой у меня чахотки нет, просто хроническое воспаление легких, мне сам доктор сказал. Вот придет лето, поживу в Лесном, и все пройдет.

— Так почему же мне все-таки не поучиться, пока есть время?

— Потому, что твое дело хозяйство. У тебя и так все не в порядке; посмотри, какой самовар грязный, посмотри, какая пыль везде. Словно в свином хлеве живем, как мужики! Ты лучше бы вот за этим смотрела!

Александра Михайловна замолчала. Андрей Иванович, сердито нахмурившись, продолжал шерфовать. Его огромная, всклокоченная голова с впалыми щеками мерно двигалась взад и вперед, лезвее ножа быстро скользило по камню, ровно спуская края сафьяна.

— Тебе же бы от этого помощь была,—снова заговорила Александра Михайловна.—Ты вот все меньше зарабатываешь: раньше

семьдесят-восемьдесят рублей получал, а нынче хорошо, как сорок придется в месяц, да и то, когда не хвораешь; а теперь и совсем пустяки приносишь; хозяин вон вперед уж и давать перестал, а мы и в лавочку на книжку задолжали, и за квартиру второй месяц не платим; погребщик сегодня сказал, что больше в долг не будет отпускать. А тогда бы все-таки помощь была тебе.

— Саша! Ради бога, оставь ты говорить о том, чего не понимаешь,—сказал Андрей Иванович, стараясь сдержаться.—Я работаю с утра до вечера, содержу тебя,—могу же я иметь хоть то удовольствие, чтоб обо мне заботились! Я хочу, чтоб у меня дома был обед, чтоб мне давали с собой готовый фрыштик. А твои гроши никому не нужны, я и без тебя обойдусь. Ты прежде всего должна быть порядочной женщиной; а если женщина поступает в работу, то ей приходится забыть свой стыд и стать развратной, иначе она ничего не заработает. Ты этого не знаешь, а я довольно насмотрелся в мастерской на девушек и очень много понимаю.

— А вот Елизавета Алексеевна ведь тоже работает.

— Елизавета Алексеевна не тебе чета.

— Так позволь мне хоть в воскресную школу с нею ходить: я еле писать умею. Ум никогда не помешает.

— Тебе ум будет только мешать,—сердито сказал Андрей Иванович.

— Ум никогда никому не может мешать,—упрямо возразила Александра Михайловна.

— Саша, ну, я, наконец... прошу!—грозно и выразительно произнес Андрей Иванович.—Замолчи, ради бога! Что-то ты уж и теперь больно умна стала.

Александра Михайловна заволновалась и быстро заговорила:

— А вон прошлое воскресенье ты весь день с каким-то оборванцем пропутался. По всему видно—жулик, ночлежник, а ты ему пальто отдал.

Андрей Иванович с презрением следил за логическими скачками Александры Михайловны.

— «Жулик»! Который человек беден, тот и называется жулик. А пальто мне не нужно, потому что у меня другое есть, новое.

— Можно было татарину продать; полтора рубля дал бы, а то и два. Нам деньги самим нужны.

— Ты все ценишь на деньги. Деньги—вздор, хлам! Ты говоришь о деньгах, а я говорю о человеке, о честности. Ты одно, а я другое. Он—бывший переплетчик, значит, мой товарищ, а товарищу я всегда отдам последнее.

— Он все равно пропьет пальто.

— Это тебе неизвестно. Мы только с тобою—хорошие люди, а все остальные—жулики, дрянь!

— Ты вот все разным оборванцам отдаешь...

Андрей Иванович грозно крикнул:

— Да замолчишь ли ты наконец?! Чучело!

— Работать ты мне не позволяешь, а сам о нас не заботишься. Смотри,—у ребенка совсем калоши продырявились, а погода мокрая, тает; шубенка вся в лохмотьях, как у нищей; стыдно на двор выпустить девочку.

Андрей Иванович положил нож, скрестил руки на груди и стал слушать Александру Михайловну.

— Тогда бы ты уж должен больше о нас заботиться... На черный день у нас ничего нету. Вон, когда ты у Гебгарда разбил хозяйской кошке голову, сколько ты?—всего два месяца пробыл без работы, и то чуть мы с голоду не перемерли. Заболеешь ты, помрешь,—что мы станем делать? Мне что, мне-то все равно, а за что Зине пропадать? Ты только о своем удовольствии думаешь, а до нас тебе дела нет. Товарищу ты последний двугривенный отдашь, а мы хоть по миру иди; тебе все равно!

Александра Михайловна вдруг оборвала себя: Андрей Иванович смотрел тяжелым, неподвижным взглядом, в его зрачках горело то дикое бешенство, перед которым Александра Михайловна всегда испытывала прямо суеверный ужас.

— Я тебе говорю, чтобы ты мне никогда не смела говорить того, что ты мне сейчас сказала,—сдавленным голосом произнес Андрей Иванович.—Я это запрещаю тебе!!!—вдруг рявкнул он и бешено ударил кулаком по столу.—Погань ты этакая! От чьих трудов ты такая гладкая и румяная стала? Я для вас надрываюсь над рабо-

тою, а ты решаешься сказать, что я о вас не думаю, что мне все равно?

Александра Михайловна была бледна. В ее красивых глазах мелькнуло что-то тупое, упрямое и злобное.

— А зачем же ты тогда...

— Молчать!!!—гаркнул Андрей Иванович и вскочил на ноги. Он быстро оглядел стол, ища чем бы запустить в Александру Михайловну.

В дверь раздался стук. Елизавета Алексеевна приотворила дверь.

— Александра Михайловна, можно у вас еще кипятку взять?

— Пожалуйста, Лизавета Алексеевна,—обычным голосом ответила Александра Михайловна.

Андрей Иванович загородил собою дверь.

— Кипятку нет, самовар остыл.

Елизавета Алексеевна вспыхнула.

— Простите!—И она закрыла дверь.

Андрей Иванович, стиснув зубы, молча заходил по комнате.

— Что у тебя до сих пор Зина не уложена?—грубо сказал он.— Уже одиннадцатый час. Убери самовар. Ляхов не придет

Андрей Иванович сел к столу и налил себе коньяку. Выпил рюмку, потом другую. Александра Михайловна видела, что он делает это на-зло ей, так как она уговаривала его не пить много. Если он теперь напьется, ей не сдобровать.

Она молча уложила Зину, убрала самовар. Потом тихо, стараясь не шуметь, разделась и легла на двуспальную кровать, лицом к стене.

Андрей Иванович сидел у стола, положив кудлатую голову на руку и устремив блестящие глаза в окно. Он был поражен настойчивостью Александры Михайловны: раньше она никогда не посмела бы спорить с ним так упорно; она пытается уйти из-под его власти, и он знает, чье тут влияние; но это ей не удастся, и он сумеет удержать Александру Михайловну в повиновении. Однако, чтоб не давать ей вперед почвы для попреков, Андрей Иванович решил, что с этого дня постарается как можно меньше тратить на самого себя.

Небольшая лампа с надтреснутым колпаком слабо освещала коричневую ситцевую занавеску с выцветшими разводами; на полу валялись шагреневые и сафьянные обрезки. В квартире все спали, только в комнате Елизаветы Алексеевны горел свет и слышался шелест бумаги. Андрей Иванович разделся и лег, но заснуть долго не мог. Он кашлял долгим, надрывающим кашлем, и ему казалось, что с этим кашлем вывернутся все его внутренности.

II

Ляхов явился на следующий день после обеда.

Андрей Иванович лежал на кровати злой и молчаливый: Александра Михайловна подала к обеду только три ломтика вчерашней солонины; когда Андрей Иванович спросил еще чего-нибудь, она вызывающе ответила, что больше ничего нет, так как нигде не верят в долг; это была чистейшая выдумка,—при желании всегда можно было достать. Андрей Иванович ничего не сказал, но запомнил себе дерзость Александры Михайловны.

Ляхов пришел немного навеселе. Это был стройный и сильный парень, с мускулистым затылком и беспечным, удалым взглядом. Нос его был залеплен поперек кусочком пластыря.

— Василий Васильевич, что это? Где вы себе нос ушибли?—встретила его Александра Михайловна, скрывая улыбку.

Ляхов поздоровался и потрогал указательным пальцем пластырь.

— Это у меня вчера на Тучковом мосту с одной барышней недоразумение вышло.—Он поднял брови и почесал затылок.

Оживившийся Андрей Иванович спустил ноги и сел на кровати.

— «Недоразумение»!..—засмеялся он.

— Действием! Недоразумение действием,—пояснил Ляхов.— Увязался за нею, стал ей комплименты говорить... А она...

— Ай-ай-ай!—Александра Михайловна смеялась и качала головою.—Погодите, вот увижу Катерину Андреевну, я ей расскажу, что вы вчера на Тучковом мосте делали.

Катерина Андреевна, работница картонажной мастерской, была сожительница Ляхова.

— Ну, что, как здоровье твое?—обратился Ляхов к Андрею Ивановичу, став серьезным.

— Поправляюсь понемножку. После сретенья выйду на работу. Что в мастерской у нас хорошенького?

Ляхов неохотно ответил.

— Что хорошенького! Все то же!.. Деньги принес тебе.

Он достал из кошелька четыре рубля пятьдесят копеек и подал Андрею Ивановичу.

— Ни копейки вперед не дает хозяин. Мы уж с Ермолаевым поругались с ним за тебя... Уперся: нет! Такой жох.

Андрей Иванович пересчитал деньги и сумрачно сунул их в карман жилетки. Ляхов быстро спросил:

— Тебе, Андрей, деньжат не нужно ли? У меня есть.

— Ну, вот еще! Нет, мне не нужно,—поспешно и беззаботно ответил Андрей Иванович.—Что ж, в «Сербию», что ли, пойдем?

Он отозвал Александру Михайловну в кухню, отдал ей четыре рубля, а себе оставил пятьдесят копеек.

— Андрюша, ты бы лучше не ходил,—просительно сказала Александра Михайловна.—Ведь тебе нельзя пить, доктор запретил!

— Это ты меня, что ли, учить будешь, как я обязан поступать?—злобно ответил Андрей Иванович и воротился к Ляхову.

В «Сербии», по случаю праздника, было людно и шумно. Половые шныряли среди столов, из «чистого» отделения неслись звуки органа, гремевшего марш тореадоров из «Кармен», ярко освещенный буфет глядел уютно и приветливо.

У Андрея Ивановича сразу стало весело на душе. Целую неделю он провел дома, в опротивевшей обстановке, в мелких и злобных дрязгах с Александрой Михайловной. Теперь от шумной веселой толпы, от всей любимой, привычной атмосферы «Сербии» на него пахнуло волею и простором.

Андрей Иванович и Ляхов прошли в заднюю комнату, где всегда можно было встретить знакомых. Они сели к столику около камина, украшенного большим тусклым зеркалом в позолоченной раме, и заказали полдюжины портеру.

Ляхов рассказывал о своем вчерашнем романе на Тучковом мосту. Подошел знакомый артельщик, Иван Иванович Арсентьев, солидный человек с цыганским лицом и с зонтиком; Андрей Иванович усадил его к своему столу.

— Да мне, собственно, уж итти пора,—возражал Арсентьев.

— Ну, ну, пустяки какие! Выпьете стаканчик портеру и пойдете. За ваше здоровье!

Они чокнулись втроем и выпили. Андрей Иванович сейчас же снова налил стаканы.

— Что это, пикак у тебя новая палка?—обратился он к Ляхову.— С обновочкой! Покажи-ка!

— Палочка, брат... сенаторская!—с гордостью ответил Ляхов. Он поднял палку, с силою махнул ею в воздухе. Палка была крепкая и гладкая, с массивной головкой, вся из черного дерева.

Андрею Ивановичу она очень понравилась; он любил хорошие вещи.

— Хороша палочка! Дай, поправлюсь немножко, обязательно заведу такую... А-а, Муравейчик, здравствуй!—вдруг рассмеялся Андрей Иванович.—Куда бежишь? Садись с нами, выпьем,—расходы пополам!

«Муравейчик»—молодой переплетный подмастерье Картавцов—торопливо проходил через комнату, держа подмышкой две бутылки пива.

— Не могу, Андрей Иванович, гости дома,—ответил он поспешно.

Андрей Иванович, смеясь, оглядывал приземистую фигуру Картавцова с выгнутыми ногами и круглой, стриженой головой на короткой шее.

— Ну, ну, какие там гости, все ты врешь! «Гости»!.. Кто же для гостей две бутылки ставит?... Придет он домой,—обратился Андрей Иванович к Арсентьеву,—запрутся вдвоем с женою и выпьют пиво, вот им и праздник!

— Ей-богу, Андрей Иванович, тетка из Твери приехала,—скороговоркой произнес Картавцов и поспешил к выходу, переваливаясь на ходу и шевеля лопатками.

Ляхов вдогонку крикнул:

— Ты бы для тетки-то на третью бутылку раскошелился!

— Ей-богу, чудачок!—засмеялся Андрей Иванович, обратившись к Арсентьеву.—Я его Муравейчиком называю. Никогда ни копейки не поставит на угощение! Работает, работает, суетится,— в субботу всю получку домой несет. Жена у него такая же,—коротенькая, крепкая, тоже у нас работает в мастерской... Принесут домой деньги,—считают, рассчитывают: это вот на керосин, это на сахар, это в сберегательную кассу... Настоящие немцы! Кто заболеет из товарищей или помрет,—подойдешь к нему с подписным листом... «Я... я потом!»—и убежит; а потом в самом конце листа мелко-мелко напишет: «Григорий Картавцов—десять копеек»... Вот Васька, он у нас молодчина!—сказал Андрей Иванович и хлопнул Ляхова по коленке.—Ни над чем для товарища не задумается... Будь здоров, Васька! За товарищество!

Они выпили уже по четыре стакана. У Андрея Ивановича слегка затуманилось в голове, и на душе стало тепло. Оп с довольной улыбкой оглядывал посетителей, и все казались ему приятными и симпатичными.

В дверях показался невысокий, худощавый человек с испитым, развязным лицом и рыжеватыми, торчащими усами; картуз у него был на затылке, пальто в накидку; подмышкой он держал цитру в холщевом мешке. Вошедший остановился на пороге и, посвистывая сквозь зубы, оглядел комнату.

— Сенька!—окликнул его Андрей Иванович.—Иди скорее к нам! Вот нам кого нехватало! Иди, садись!... Это, господа, Захаров, бывший переплетчик. Он нам такую музыку изобразит на цитре! И сыграет, и споет,—все вместе... Голубчик, как я рад! Садись!—повторял Андрей Иванович и тряс руку Захарова.

Захаров положил мешок под стул, сел и уперся руками в колени. Ляхов встрепенулся и щелкнул пальцами.

— Эге! На цитре играете? Тащите цитру!

— Да неохота чтой-то играть,—ответил Захаров и предупредительно принял из рук Андрея Ивановича стакан портера.

— Ну, неохота! Всячески ты же нам должен сыграть... Пей, пей раньше!

Андрей Иванович ужасно обрадовался Захарову: это был тот самый «оборванец», которому Андрей Иванович подарил пальто и который, по уверению Александры Михайловны, обязательно должен был его пропить; между тем пальто было на нем.

— Чего там—«неохота»!.. Валяй!..

Ляхов вытаращил глаза и, размахивая рукою, запел басом:

Давно готова лодка,
Давно я жду тебя...

Захаров отнекивался. Только после долгих упрашиваний он вынул цитру и, разложив на столе, стал настраивать. Арсентьев, солидно опершись на зонтик, брезгливо оглядывал его отрепанный пиджачишко и дырявые штиблеты.

Захаров взял несколько аккордов, тряхнул волосами, закинул голову и запел тонким, очень громким фальцетом:

Смотря на луч парпурного заката,
Стояли мы на берегу Невы...

Взгляды присутствующих обратились на него. Захаров пел с чувствительным дрожанием и медленно поводил закинутою головою. Подошел отставной чиновник, худой, с жидкой бородкою и красными, мягко смотрящими глазами. Он умиленно сказал:

— Как ты, милый мой, славно играешь! Ну-ка, вот тебе на струны!

Чиновник протянул пятиалтынный. Захаров кивнул головою, сунул монету в жилетный карман и залился еще слаще:

До гроба вы клялись любить поэта...
Страшась людей, боясь людской молвы,
Вы не исполнили священного обета,
Свою любовь—и ту забыли вы...

Чиновник слушал и оглядывал окружающих влажными, умиленными глазами.

— Самодельный инструмент-то!—обратился он к Андрею Ивановичу.

Андрей Иванович с гордостью ответил:

— Он у нас на все руки мастер... Садитесь, пожалуйста, к нам,— что же вам стоять!

Чиновник переставил на их стол бутылку с пивом и сел.

— А ну-ка, милый мой, сыграй «Выйду ль я на реченьку»,—национальную!.. Знаешь?—сказал он Захарову.

— Извините, этой не знаю. «По улице мостовой» могу.

Захаров выпил стакан портеру, рванул струны,—они заныли, зазвенели, и задорно-веселая песня полилась. Чиновник раскачивал в такт головою, моргал и с блаженной улыбкою оглядывал слушателей. Ляхов поднялся с места и, подперев бока, притоптывал ногами.

Подошла пожилая женщина в длинной, поношенной тальме и в платочке.

— Какая у вас прелестная музыка! Вы мне позволите послушать?

У нее было круглое и довольно еще миловидное лицо, но у углов глаз было много морщинок. Она держалась жеманно и разыгрывала даму. Это была фальцовщица из той же мастерской, где работали Андрей Иванович и Ляхов.

Красавица ты моя,
Есть словечко до тебя!

пропел Ляхов и схватил ее сзади за талию. Он сел к столу и посадил фальцовщицу к себе на колени.

— Тебя Авдотьей Ивановной что ли, звать? Ну-ка, Авдотья Ивановна, опрокинем по бокальчику!

Авдотья Ивановна, жеманясь, возразила:

— Ах, нет, я не для этого! Я только к тому, что какая у вас прекрасная музыка.

Портер, однако, выпила.

— Конфетка ты моя!.. Зазнобушка!—ломался Ляхов и крепко прижимал ее к себе.

Захаров вдруг запел невероятно циничную песню, от которой покраснел бы ломовой извозчик, с припевом:

Амигдон, Амигдон!
Амигдон-мигдон-мигдон!

Он пел под общий хохот, топорщил усы и выкатывал глаза на Авдотью Ивановну. Та слушала с широкой улыбкой, неподвижно глядя ему в глаза, и медленно моргала.

К ней подошел половой.

— Позвольте деньги за пиво!

— За какое пиво?—растягивая слова, спросила фальцовщица.— Что ты, дурак, пристаешь? Принеси сюда мое пиво.

— Пиво выпито-с, нужно деньги заплатить.

— Что тебе надо?—Авдотья Ивановна ждала, чтоб Ляхов взял ее пиво на свой счет.—Болван! Никакого не понимает обращения. На!..

Она встала, достала из кармана восемь копеек и бросила половому. Когда Авдотья Ивановна снова хотела сесть, Ляхов неожиданно выдернул из-под нее стул, и она упала.

— Ну, что вы шутите?—проговорила фальцовщица, поднимаясь.

Ляхов схватил ее сзади подмышки, поднял три раза на воздух и повалил лицом на Арсентьева. Арсентьев недовольно отстранился. Андрей Иванович с отвращением следил за фальцовщицей. Он грубо сказал:

— Слушай, Васька, можно бы ее убрать отсюда! Ей в нашей компании совсем не место!

— Любовь-то мою убрать?! Как же это можно? Я без нее с тоски иссохну!.. Дунька, садись!

Ляхов снова посадил ее к себе на колени.

— Вот еще выпьем с тобой по стаканчику и пойдем! К тебе, что ль, пойдем? Одна живешь?—спрашивал он, нисколько не понижая голос.—Пойдем мы с тобою, дверь на клю-уч...

Авдотья Ивановна как-будто не слышала циничных мерзостей, которые ей говорил Ляхов.

— Какая у вас прекрасная музыка! Будьте столь любезны, сыграйте нам еще что-нибудь хорошенькое!—обратилась она к Захарову.

Тот ответил ей грязною остротою. Андрей Иванович сидел темнее ночи. Остальные смеялись.

Захаров снова заиграл на цитре и тонким фальцетом запел «Маргариту».

Мар-га-рита, пой и веселися,
Мар-га-рита, смейся и резвися,
Мар-га-рита, все мои мечты,
Чтобы дверь открыла,—рыла, рыло ты!

Ляхов вскочил, заложил большие пальцы за жилетку и начал перебирать ногами, поводя и подрагивая задом.

За соседним столом сидели за водкою два дворника. Один из них, с рыжей бородою и выпученными глазами, был сильно пьян. Заслышав музыку, он поднялся и стал плясать, подогнув колени и согнувшись в дугу. Плясал не в такт, щелкал пальцами и припевал:

Гуляю день, гуляю ночь,
Гуляю всю неделюшку,
Ах, занимаюсь я гульбой!..

— Садись на место! Ишь, заплясал,—засмеялся его сосед и насильно усадил рыжебородого дворника на стул.— Не для нас с тобой музыка заказана.

Дворник злобно таращил глаза на канканировавшего Ляхова.

— Дурак этакий! Плясать взялся! Нешто так нужно плясать? Архаровец!

Ляхов крикнул:

— Ты что, утопленник, заговорил? Сиди да лакай водку!—Кругом хохотали. Дворник озлился.

— Утопленник? Я тебе сейчас покажу утопленника!

— Я, брат, с живыми людями рад говорить, а с утопленником— извини, не могу.

— Залепил нос себе, сукин сын! Я тебе шейного пластыря наклею!

— Молчи, утопленник ладожский!

Дворник рванулся со стула. Ляхов, бледный, с весело смеющимися глазами, стоял и ждал.

Сосед обнял дворника за плечи и усадил на место.

Ляхов воротился к своим. На его стуле сидела Авдотья Ивановна и со своею широкою улыбкой, словно не понимая, слушала ци-

нические издевательства Захарова. Ляхов вдруг увидел, какое у нее поблекшее, морщинистое лицо, какая некрасивая, растерянная улыбка... Он зашел сзади, поднял на стуле фальцовщицу и изо всей силы швырнул ее вместе со стулом к выходной двери. Авдотья Ивановна ударилась грудью в спинку стула, на котором сидел рыжебородый дворник, и оба они, вместе со стульями, повалились в кучу.

Зазвенели и раскатились по полу упавшие бутылки. Вбежали половые, фальцовщица хрипло крикнула:

— Городовой!

Ляхов, хохоча про себя, поспешно сел к столу и стал пить пиво.

Дворник, путаясь в юбках Авдотьи Ивановны, в бешенстве вскочил и бросился ее бить. Его с трудом оттащили. Авдотья Ивановна несколько раз пробовала встать, но не могла: она наступала на свои юбки и тальму, может-быть, была пьяна. Половые подняли ее и вытолкали на улицу.

У чиновника покраснел нос, он жалобно заморгал глазами.

— Женщину!—произнес он, качая головою.—За что он так с женщиной поступил?—обратился он к Андрею Ивановичу.—Силу показал над кем!

— Гр-рязь этакая! Ее давно следовало вышвырнуть вон!—ответил Андрей Иванович.

Чиновник грустно сказал:

— Нет, это не годится! Я люблю веселость и спокойный характер, а к чему обижать людей?

— Ей тут было не место! Ну, скажите, пожалуйста, разве может порядочная женщина слушать такие песни? Она должна покраснеть и уйти, а эта сидит, пялит глаза,—«ах-х, какая у вас прекрасная музыка!» Это неприлично для женщины, раз она не публичная женщина.

— Нет, я люблю веселость и спокойный характер,—грустно повторял чиновник.

— Всячески же ее присутствие тут было неблаговидно,—поддержал Андрея Ивановича Арсентьев.

Захаров засмеялся.

— В гнилой трубе две трубы! Настоящая ассенизация!

— Ну, чорт с нею!—сказал Андрей Иванович.—Еще разговаривать об ней! Плюньте вы на нее!—обратился он к чиновнику.— Выпьем лучше с вами! а?

Фальцовщица исчезла, и к Андрею Ивановичу воротилось хорошее расположение духа. Он заказал водку и солянку.

Ляхов взял руку Захарова и с размаху хлопнул ладонью по его ладони.

— Молодчина, Сенька, ей-богу! Ловко играешь, сукин ты сын этакий! Ну-ка, хлопнем!

— Будьте здоровы!—ответил Захаров, чокаясь. Он опрокинул в рот рюмку водки и молодцевато провел рукою по волосам.—Вы знаете, как сказано в поэзии: «лови, лови часы любви, минуты наслажденья»... Вы не смотрите, что это пустяковина; это не зря сказано... Кинарейку поймай-ка! Другой ее этак—цоп! Разве можно так? Нужно брать тонко!..

Чиновник отошел от них. Он стоял у соседнего стола, качал головой и говорил сидевшим за пивом трем наборщикам:

— Я люблю веселость и спокойный нрав... А за что же женщину бить? Разве это благородно?

III

Народу все прибывало. Лампы молнии с хрустальными подвесками тускло освещали потные головы и грязные, измазанные горчицею скатерти. Из кухни тянуло запахом подгорелого масла и жареной рыбы. В спертом, накуренном воздухе носились песни, гам и ругательства.

Андрей Иванович пил рюмку за рюмкой. В душе было горячо, хотелось всех любить, хотелось сплотить всех вокруг себя и говорить что-нибудь хорошее, сильное и важное.

Полубутылка портера, которую половой, откупорив, заткнул пробкою, согрелась, и пробка с выстрелом вылетела из горлышка; пена брызнула в стороны, пробка ударилась в низкий потолок и упала на сидевшего за соседним столом наборщика.

Наборщик—бледный молодой человек с очень высоким, узким лбом—сердито оглянулся.

— Послушайте, я вас попрошу поосторожнее!—угрожающе произнес он, отирая голову.

Андрей Иванович добродушно ответил:

— Мы нечаянно,—что там!

— «Поосторожнее»!—передразнил Ляхов.—Ты это портеру говори, а не нам! Об'явился с претензиями!

Наборщик медленно повернул к Ляхову свое бледное лицо и молча смотрел на него.

— Поглядел бы раньше, швырял ли в него кто пробкой. Нет, сейчас в амбицию вломился, — «поосторожнее!» Прохвост паршивый!

Андрей Иванович пересел к наборщику.

— Ну, что там! Сказано, нечаянно.. Чего вы?.. Разве не бывает различных несчастных обстоятельств? Выпьем лучше вместе для знакомства.

Ляхов, развалясь на стуле, говорил:

— Что-ж, пойдем из-за полбутылки к мировому!

— «Нечаянно!»... Я рад,—совершенно справедливо!—ответил наборщик Андрею Ивановичу:—но к чему же ругаться, как этот господин?

Андрей Иванович воскликнул:

— Друзья! Выпьем!.. Ну, неужто мы из-за этого станем поднимать скандал? Позвольте спросить, чем вы занимаетесь?

— Наборщики.

— Ну, а мы переплетчики! Все мы трудящие люди, из-за чего же ради мы будем ссориться? Из-за полбутылки портера?.. Друзья, друзья!... Пойдем, Вася, к ним!—Он потащил Ляхова к наборщикам.—Ну, помиритесь, поцелуйтесь!.. Человек, еще полдюжины портеру!

— Позвольте, почему вы рассердились?—спросил Ляхов, садясь к наборщикам.—Вы должны были раньше поглядеть, отчего случилось дело. А вы сейчас же начинаете ворочать глазами и говорить различные угрожающие выражения.

— Совершенно справедливо! А только для чего вы...

— Нет, позвольте, я вам сейчас все об'ясню! Мы сидим, портер хлопнул, чем же мы виноваты? Вы к бутылке должны были со своим замечанием отнестись, а не к нам...

Андрей Иванович взял провинившуюся бутылку портера.

— Ну, ну, дурак!—И он совал бутылку к губам наборщика.— Мирись сейчас же с бутылкой! Целуйся с ней без разговоров!

— Я рад-с! Очень приятно познакомиться!—Наборщик галантно раскланялся с бутылкой и три раза поцеловал ее накрест.

— Да он с нею уже давно знаком!—сказал его сосед.—Эка, подумаешь, в первый раз знакомится!

Андрей Иванович грозно крикнул половому:

— Гаврюшка! Я тебе сказал, еще полдюжины портеру!—Половой подошел.

— Буфетчик не отпускает, Андрей Иванович; с вас и то полтора рубля следует. Потрудитесь раньше заплатить.

— Убирайся к чорту! Скажи буфетчику, пусть запишет.

— За вами и то уж шесть рублей записано.

Андрей Иванович сунул руку в карман жилетки, там было всего пятьдесят копеек. Он спросил Ляхова:

— У тебя много, Вася?

Ляхов обшарил карманы и набрал семьдесят копеек. Арсентьев поднялся и протянул руку Андрею Ивановичу.

— До свиданья! Время итти,—сказал он.

Андрей Иванович придержал его руку.

— Слушайте, нет ли у вас до завтра двух целковых?

Лицо Арсентьева сделалось холодным и скучающим.

— Нету при себе, Андрей Иванович! С удовольствием бы.

Андрей Иванович качал головой и с презрением смотрел ему в глаза.

— Ж-жох ты эдакий! Раз что мы угощаем, так разве бы я вам завтра не отдал? Неохота итти сейчас домой за деньгами, только и всего.

Он отвернулся от Арсентьева. Взгляд его упал на Захарова; Андрей Иванович просиял; он подсел к нему на стул и обнял Захарова рукою.

— Вот что, Сенька, слушай! Я сейчас напишу жене записку, а ты сходи и отнеси. Пусть поглядит на тебя, хлындра. Этакие грязные взгляды: зачем, говорит, ты ему пальто отдал. Он его пропьет!.. Пускай посмотрит, пропил ли ты... Я ей напишу, чтоб прислала с тобою два рубля. Ладно, а?

Захаров согласился. Андрей Иванович, шлепая калошами, пошел к буфету, заплатил рубль двадцать копеек и, взяв у буфетчика карандаш, написал на клочке бумаги: «Саша! Пришли немедленно с посланным два рубля; очень необходимо».

Захаров ушел. Подали еще портеру. Андрей Иванович сидел с наборщиками, целовался с ними и ораторствовал:

— Вы трудящие люди и мы трудящие люди!.. Об вас Некрасов сказал: «вы все здоровьем хлипки, все зелены лицом!» Почему? Потому что вам приходится дышать свинцовой пылью... Мы—золотообрезчики, мы дышим бумажною пылью... И нам, и вам в чахотке помирать!.. Четыре года назад мой названный брат Фокин просил меня, чтоб я его научил делать золотые обрезы. Я его стал отговаривать, что это вредно для груди.—«Ну, говорит, тебе жалко, что б я столько же не зарабатывал, как ты». Жалко? О, нет, мне не жалко!.. Научил его, а теперь он уж три года, как на Смоленском лежит. Романов сейчас от чахотки помирает. У меня хроническое воспаление легких, скоро тоже чахотка будет... Верно ли?.. Товарищи! И вы, и мы работаем для просвещения! Мы должны друг другу дать руки!

— Вер-рно!—повторял, поникнув головою, бледный наборщик с высоким лбом и стукал стаканом по столу.

Ляхов отстал от компании. Он сидел на другом конце комнаты с нарумяненною девушкою в шляпе с широкими полями и пышными перьями. Вскоре он вместе с нею исчез из «Сербии».

Захаров воротился. Он встряхивался, словно его сейчас окатили водою, и с размахом швырнул на стол свою фуражку с надорванным козырьком.

— Ффу-фу-фу-фу-фу! Ну, побывал же я в баньке!

Андрей Иванович спросил:

— Принес?

— Чорта с два принес! Не знал, как ноги унесть!

— Почему так?

— Убирайтесь, говорит, вон отсюда!.. Жена-то ваша. Я спрашиваю: какой же будет ответ?—«Никакого ответа не будет!»

Андрей Иванович с блуждающей улыбкою смотрел на Захарова. Не веря ушам, он медленно переспросил:

— Так и сказала?

— А ты как думал? Так, брат, и отрезала!—иронически подтвердил Захаров; он с чего-то стал говорить Андрею Ивановичу «ты».

Андрей Иванович выпил залпом два стакана портера и вышел из «Сербии».

Шел дождь, ветер бурными порывами дул с моря. На проспекте было пустынно, мокрые панели блестели под фонарями масляным блеском. Андрей Иванович быстро шагал, распахнув пальто навстречу ветру.

IV

После того, как Андрей Иванович и Ляхов ушли в «Сербию», Александра Михайловна перемыла посуду, убрала стол и села к окну решать задачу на именованные числа. По воскресеньям Елизавета Алексеевна, воротившись из школы, по просьбе Александры Михайловны, занималась с нею. Правду говоря, большого желания учиться у Александры Михайловны не было; но она училась, потому что училась Елизавета Алексеевна, и потому что учение было для Александры Михайловны запретным плодом.

Она попробовала решить задачу, взглянув предварительно в решения. Ничего не вышло. Александра Михайловна погрызла карандаш, подумала и, отложив задачник, потянулась.

Было скучно. По оконным стеклам текли струи воды, в квартире стояла тишина; Зины не было,—она бегала по двору. Александра Михайловна достала из комода деньги, которые ей оставил Андрей Иванович, и стала распределять, на что их употребить. Два рубля решила отдать хозяйке за квартиру, рубль заплатить по книжке в мелочную лавочку, остальное оставила на расходы. Покончив расчеты, Александра Михайловна спрятала деньги, зевнула и стала ходить по комнате. Из всех углов ползла на нее мертвая, томитель-

ная скука, но Александра Михайловна привыкла к ней и мало тяготилась ею.

Сняла кофточку, распустила по белым, полным плечам свою густую косу и стала причесываться перед зеркалом. Сделала себе китайскую прическу, потом греческую, потом начала прикидывать, как бы вышло, если бы подрезать спереди гривку. Александре Михайловне давно хотелось пустить себе на лоб гривку и завивать ее, но Андрей Иванович строго запретил ей это.

Темнело. Александра Михайловна вышла в кухню, к квартирной хозяйке. Старуха-хозяйка, Дарья Семеновна, жила в кухне вместе с дочерью Дунькой, глуповатой и румяной девушкой, которая работала на цементном заводе. Они пили кофе, Александра Михайловна подсела к ним, но от предложенного кофе решительно отказалась.

Стали беседовать о вчерашней драке, разыгравшейся на лестнице между живописцем вывесок и пьяным приказчиком. Хозяйка сообщила несколько новых подробностей; она узнала их утром от жены живописца. Но вскоре разговор истощился; вчера они уже часа три говорили об этой драке.

Дарья Семеновна послала Дуньку в лавочку за керосином. Александра Михайловна спохватилась, что Зина до сих пор бегает на дворе. Она попросила Дуньку на обратном пути разыскать Зину и привести домой, а сама пошла к себе.

Походила по комнате, стала напевать шансонетку, которую слышала летом на открытой сцене в Крестовском:

Радость наша—
Доктор Яша
Воротился из вояжа!..

На дворе зажгли фонарь. Тусклый свет лег на потолок около шкапа. На проспекте звенела конка. Александра Михайловна села в кресло и задремала.

Воротилась Дунька и привела с собою Зину. Александра Михайловна, зевая, зажгла лампу. Зина иззябла, руки у нее были красные, ноги мокрые. Александра Михайловна начала ее бранить, что она

так долго не возвращалась домой. Зина слушала и весело топала ногами; матери она нисколько не боялась и была при ней совсем другою, чем при отце.

— Ай! Затопи печку, мама!—крикнула она в самый разгар поучений.

— Что ты орешь?—строго заметила Александра Михайловна.— Главное—«ай»! Как-будто в самом деле есть чего!.. Не бегала бы по двору до ночи, так и не было бы холодно. На дворе грязь, слякоть, а она бегает.

Смеясь, Зина крикнула еще громче:

— Караул! Холодно!

Александра Михайловна дала ей два шлепка. Зина захныкала.

— Когда тебе говорят, ты должна слушать, а не смеяться!

— Да! Когда мне холодно!—плаксиво возразила Зина.

— Печка топлена, от жары, слава богу, деваться некуда. Поменьше бы бегала по двору, так ничего бы и не было. Вот погоди, воротится отец, я ему расскажу; ты, должно быть, забыла, как он тебя третьего дня отпорол.

В дверях показалась Елизавета Алексеевна, воротившаяся из школы.

— Александра Михайловна, хотите заниматься?

— Да, да, сейчас!

Она суетливо собрала тетрадки, книги и пошла к Елизавете Алексеевне в ее комнату.

Комната Елизаветы Алексеевны была очень маленькая, с окном, выходившим на кирпичную стену. На полочке грудою лежали книги, и среди них желтели обложки сочинений Достоевского и Григоровича,—приложений к «Ниве».

Александра Михайловна сказала:

— Задачи у меня не вышли, Лизавета Алексеевна; думала-думала, проверяла-проверяла,—не сходятся с решением!—И она с недоумением пожала полными плечами.

Елизавета Алексеевна стала решать вместе с нею. Они занимались около часу. Елизавета Алексеевна об'ясняла, сдвинув брови, серьезная и внимательная, с матово-бледным лицом, в котором, ка-

залось, не было ни кровинки. Она была дочерью прядильщицы; когда Елизавета Алексеевна была ребенком, мать, уходя на работу, поила ее настоем маковых головок, чтоб не плакала; их было шестеро детей, все они перемерли, и выжила одна Елизавета Алексеевна.

В комнате Александры Михайловны Зина громко пела в пустую кастрюлю, которую держала перед ртом:

Чудный месяц плывет над рекою,
Все спокойно в ночной тишине...

Александра Михайловна решила, наконец, обе задачи. Елизавета Алексеевна спросила:

— Ну, что, не соглашается Андрей Иванович пустить вас работать?

— Нет!—вздохнула Александра Михайловна.—Слыхали вчера? Чуть было не избил, что посмела сказать.

— Он хочет, чтоб вы его хлеб ели,—сказала Елизавета Алексеевна, понизив голос.

— Да добро бы еще хлеб-то этот был бы! А то ведь сам все болеет, ничего не зарабатывает; везде в долгу, как в шелку, никто уж больше верить не хочет. А обедать ему давай, чтоб был обед! Где же я возьму? Сам денег не дает и мне работать не позволяет.

— Так чего вам заботиться? Без денег нельзя обеда приготовить, он сам может это понять.

— Он этого не хочет понимать: чтоб был обед, только и всего! Сегодня подала солонины,—надулся: ты, говорит, не хочешь постараться... Поди-ка сам, постарайся! Придешь в мелочную, лавочник тебе и не отвечает, словно не слышит; сколько обид наглотаешься, чтоб фунт сахару получить.

— Ни за что бы ни стала для него стараться!—воскликнула Елизавета Алексеевна.—Хочет, чтоб вы его хлеб ели,—пусть добывает денег!

— У него разговор короток: давай! А не дашь, он себя покажет, каков он есть король.

Александра Михайловна была рада говорить без конца. Андрей Иванович совершенно подчинил себе ее волю, и она не смела при нем

пикнуть; теперь она начинала чувствовать себя полноправным человеком. И чем больше она говорила, тем яснее ей становилось, что она права и страдает, а Андрей Иванович тираничен и несправедлив.

Елизавета Алекссевна прошлась по комнате и нервно повела плечами.

— Никогда замуж не пойду!.. Словно ребенок какой, ничего не смей, на все из чужих рук смотри!

— А я рада, что ли, что пошла? Ведь они перед свадьбой всегда прикидываются: говорят, что и любят тебя, и холить будут, и пить-то ничего не пьют...

Александра Михайловна помолчала.

— Вы думаете, ему есть до нас какая-нибудь забота. Ему только товарищи и дороги; последний кусок он отнимет у своей девочки, чтоб отдать товарищу; для товарища он ни над чем не задумается... Пять лет назад его прогнали от Гебгарда,—за что? Товарищ его Петров поставил золотые обрезы просушиваться, а хозяйская кошка чихнула и испортила обрезы. Петров переделал, поставил в книжку за поправку по шесть копеек,—хозяин вычеркнул и написал: «Я не виноват»... Ну, что с хозяином сделаешь? Всегда так было и будет. Поругался про себя Петров, и больше ничего. И дело-то всего в полтиннике было. А мой Андрей Иванович взбеленился: «Это, говорит, он еще слонов у нас тут разведет,—ходить будут по мастерской, да чихать во все стороны?.. Не виноват хозяин? Кошка виновата?..» Поймал кошку и разбил ей голову о пресс. А кошка дорогая была, ангорская, пятнадцать рублей стоила... Ну, и прогнали его. Что ж хорошего вышло? Два месяца без работы пробыл, совсем обнищали...

Хозяйка заглянула в дверь.

— Михайловна, человек тебя спрашивает.

Александра Михайловна вышла. В кухне стоял человек с рыжеватыми, торчащими, как щетина, усами, в знакомом Александре Михайловне пальто. Это был Захаров. Он галантно расшаркался.

— Записка вам от вашего супруга!

Александра Михайловна прочла записку. У нее опустились руки. Часто дыша, она с негодованием оглядела Захарова.

— Зачем ему нужно два рубля?

— Не знаю-с! Просто просил меня Андрей Иванович принести, а для чего,—положительно не знаю.

— Как вам это нравится, Елизавета Алексеевна?! Пишет, чтоб я ему еще прислала два рубля! Где я их возьму? Ах, ты, боже мой, боже мой! а?.. Вы где с ним пьянствуете, в «Сербии»? На коньяк денег нехватило вам? Зачем ему деньги?

Захаров смущенно переминался.

— Окончательно не могу вам этого сказать. А только просил меня Андрей Иванович принести.

— Да кто вы такой?

— Я знакомый его.

— Знакомый? Какой такой знакомый?

— Значит... познакомились с ним, с супругом вашим.

— Хорош знакомый, которого жена в первый раз видит!

— Удивительно!—сконфуженно произнес Захаров.

— А вы меня видали?

— Н-нет.

— Так что же для вас удивительного?

Захаров вздохнул.

— Да на что ему деньги-то нужны, ответьте мне!

— Он мне не сказал, на что. Просто просит вас прислать ему два рубля. «Пусть, говорит, пришлет». Н-ну... Желает, чтобы вы прислали ему два рубля. Вот вам мой короткий ответ.

— Да на что, на что ему?

— Не знаю.

— Как же вы не знаете? Ведь вы вместе сидите, вместе пьете! На что они ему? Пропить ли, вам ли подарить?.. На что?

— Окончательно ответить вам—не знаю.

— Ну, уж пожалуйста, не врите!

Захаров беспомощно пожал плечами и снова вздохнул.

— Я к вам по его поручению пришел, как посланец, больше ничего! Ничего не знаю, ничего не понимаю. А вы, как Иоанн Грозный,—«в ногу гонца острый конец жезла своего он вонзает».

— Какой Иоанн Грозный? Что вы глупости говорите?.. Кто вы сами-то такой,—я вас не знаю! Ступайте вон отсюдова!

Захаров заморгал глазами.

— Это вы мне намекаете, что я должен удалиться? Какой же прикажете дать ответ?

— Никакого ответа не будет!

Александра Михайловна круто повернулась и ушла к Елизавете Алексеевне.

V

Глаза Александры Михайловны блестели, она задыхалась от волнения и сознания отчаянной смелости своего поступка. Елизавета Алексеевна сидела бледная.

— Как вам это понравится!—воскликнула Александра Михайловна.—Дома гроша нет, сам не работает, а пришли ему два рубля с этим оборванцем! Это тот самый оборванец, которому он пальто свое отдал,—я сразу поняла. Мало пальта показалось, еще деньгами хочет его наградить,—богач какой! Пускай свой ребенок с голоду помирает,—оборванцы-пьянчужки ему милее!

Хозяйка, Зина и Дунька вошли в комнату. Дарья Семеновна жалостливо сказала:

— Ну, Михайловна, убьет он теперь тебя до смерти!

— Пускай убивает, мне что!

— Побегу за этим усатым, посмотрю!—Дунька быстро накинула платок и исчезла.

Александра Михайловна гордо и радостно повторила:

— Пускай убивает! Весело мне, что ли, жить? Одни только тычки да колотушки и видишь, словно ребенок малый!.. Жив был отец,—отец тиранил, замуж вышла,—муж.

Елизавета Алексеевна молчала, в волнении кусая губы. Зина, быстро дыша, оглядывала присутствующих и начинала плакать. Хозяйка вздыхала.

— Пойти прибрать в твоей комнате все тяжелое. Пьяный человек, неровен час... Пойдем, Михайловна!

Они отобрали два горшка с геранью, литографский камень, ножи и все отнесли в кухню. Испуг окружающих передался Александре Михайловне. Она все больше падала духом.

Вошла Елизавета Алексеевна и решительно сказала:

— Слушайте, Александра Михайловна, уходите с Зиной со двора! Я ему скажу, что вас нет дома.

— Нет, что уж!—апатично ответила Александра Михайловна.— Он тогда со злобы все у нас перебьет, порвет, ни одной тряпки не оставит. Все равно уж!.. А вот я вас хотела нросить, Лизавета Алексеевна,—возьмите Зину к себе; а то он, чтоб мне на-зло сделать, начнет ее сечь, изувечит ребенка.

В квартиру, как вихрь, влетела Дунька.

— Идет Андрей Иванович!—крикнула она, задыхаясь.—Пьяный-пьяный! Шатается и под нос себе лопочет! Уж с пришпехта повернул... Ой, боюсь!

Все засуетились. Зина заплакала.

— Иди, Зина, к Лизавете Алексеевне,—поспешно сказала Александра Михайловна.

— Идите вы тоже ко мне!—резко проговорила Елизавета Алексеевна.—Он ко мне постесняется войти.

Александра Михайловна испуганно твердила:

— Нет, нет! Ради бога, голубушка, идите с Зиной и не показывайтесь! Увидит вас, еще больше обозлится. Он мне и так утром говорил, что это вы меня подучаете его не слушаться.

Елизавета Алексеевна увела Зину к себе. Перепуганная Дунька пошла вместе с ними.

— Ты-то чего, дура, боишься?—презрительно сказала Елизавета Алексеевна.—Тебя он не смеет трогать.

— Голубушка, Лизавета Алексеевна, боюсь,—повторяла Дунька дрожа.

Властно и грозно зазвенел звонок. Хозяйка отперла. Слышно было, как Андрей Иванович вошел к себе в комнату и запер за собою дверь на задвижку.

— Давай деньги!—хрипло произнес он.

В комоде поспешно щелкнул замок. Александра Михайловна, послушно достала деньги и отдала Андрею Ивановичу.

— Еще!—отрывисто сказал он.—Все деньги давай! Четыре рубля!

Александра Михайловна робко возразила:

— Андрюша, я два рубля уже истра...

Раздался звук пощечины и вслед за ним короткий, всхлипывающий вздох Александры Михайловны. Зина сидела на постели Елизаветы Алексеевны и чутко прислушивалась; она рванулась и заплакала. Елизавета Алексеевна, бледная, с дрожащими губами, удержала ее.

За стеною слышалась молчаливая возня и сдержанное всхлипыванье. Зина, дрожа, смотрела блестящими глазами в окно и бессознательно стонала.

Вдруг Александра Михайловна крикнула:

— Андрей, пусти!!!. Я сейчас... посмотрю...

За стеною стало тихо.

— Нашла!—иронически протянул Андрей Иванович.

Он стал пересчитывать деньги. Зина дрожала еще сильнее, упорно глядела в окно, охала и растирала рукою колени.

— Как ноги больно!—тоскливо сказала она.

Елизавета Алексеевна спросила:

— Отчего у тебя ноги болят?

— У меня всегда ноги болят, когда папа маму бьет,—ответила Зина с блуждающею улыбкою, дрожа и прислушиваясь.

— Ну, а теперь я покажу тебе, как меня перед людями позорить!—сказал Андрей Иванович.

Александра Михайловна пронзительно вскрикнула. За стеною началось что-то дикое. Глухо звучали удары, разбитая посуда звенела, падали стулья, и из шума неслись отрывистые, стонущие рыдания Александры Михайловны, похожие на безумный смех. Несколько раз она пыталась выбежать, но дверь была заперта.

— О-о, господи!—тяжело вздохнула хозяйка на кухне.

— Ай-ай-ай, Лизавета Алексеевна, боюсь!—плакала Дунька, стараясь держаться ближе к Елизавете Алексеевне.

Елизавета Алексеевна бросилась к запертой двери и стала стучать в нее кулаком. Напрягая свой слабый голос, она крикнула:

— Андрей Иванович! Отворите сейчас же, а то я побегу за дворниками!

— Что?!—грозно спросил Андрей Иванович, подходя к двери.— Убирайся к...

Раздался вопль Александры Михайловны и шум упавшего тела.

Елизавета Алексеевна бросилась вниз по лестнице к дежурному дворнику. Дворник, кутаясь в тулуп, сидел на скамейке у ворот. Он равнодушно ответил:

— Я дежурный, не могу от ворот уйти.

Елизавета Алексеевна побежала в дворницкую. У дверей стоял, щелкая подсолнухи, молодой дворник. Узнав, в чем дело, он усмехнулся под нос и моментально исчез где-то за дровами. Сегодня, по случаю праздника, в доме все были пьяны, и чуть не из каждой квартиры неслись стоны и крики истязуемых женщин и детей. Наивно было соваться туда.

Елизавета Алексеевна и сама это понимала. Никого ей не дозваться. Она в отчаянии остановилась посреди двора. С крыш капало, от помойной ямы тянуло кислою вонью; за осклизшей деревянной решеткой палисадника бились под ветром оголенные ветки чахлых берез.

Из под'езда выбежал Андрей Иванович, с всклоченными волосами, в пальто в накидку; глаза его горели. Он быстро прошел к воротам, не заметив Елизаветы Алексеевны. Она поспешила наверх.

Александра Михайловна, с закинутою, мертвенно-неподвижною головою, лежала на кровати. Волосы спутанными космами тянулись по подушке, левый глаз и висок вздулись громадным кровавым волдырем, сквозь разодранное платье виднелось тело. Вокруг суетились хозяйка и Дунька. Зина сидела на сундуке, дрожала, глядела блестящими глазами в окно и попрежнему слабо стонала, растирая рукою колени.

Александру Михайловну привели в чувство. Хозяйка поставила самовар, Елизавета Алексеевна сбегала в погребок и принесла бутылку рома. Александра Михайловна напилась горячего чаю с ромом и осталась лежать.

Она была вяла и апатична. Тупо оглядывая окружающих, она рассказывала, как бил ее Андрей Иванович, как он впился ей ног-

тями в нос и рвал его, а другой рукою закручивал волосы, чтоб заставить ее отдать все деньги... Хозяйка вздыхала и жалостливо качала головою. Елизавета Алексеевна, сдвинув брови, мрачно смотрела в угол. Дунька слушала жадно, с блестящими от любопытства глазами, словно ей рассказывали интересную и страшную сказку.

Просидели все вместе с час. Александру Михайловну стало познабливать, она решила лечь спать. Елизавета Алексеевна ушла из дому.

Александра Михайловна разделась, уложила Зину, потушила лампу, но заснуть не могла. Правое бедро, в которое Андрей Иванович ударил ее каблуком, ныло, распухший нос горел. Она лежала на спине, глядела в темноту и думала о своей жизни. Ей вспоминался мрачный, горевший ненавистью взгляд Елизаветы Алексеевны, с каким она слушала рассказ,—и в ней самой разгоралась ненависть. До сих пор Александра Михайловна несла тяжесть своей семейной жизни, как неизлечимую болезнь, от которой можно только страдать. Теперь она думала о том, что эти страдания глупо терпеть и что нужно вырваться из них; она думала и о том, что ее жизнь скучна и сера, а Елизавета Алексеевна живет в какой-то другой жизни, яркой и светлой.

На потолке около шкапа тускло светилось пятно от горевшего на дворе фонаря; порывистый ветер хлестал дождем в окно; телефонные проволоки на крыше гудели однообразно и заунывно, словно отдаленный благовест. В воздухе один за другим глухо прозвучали три пушечных выстрела: начиналось наводнение... Зина, спавшая на сундуке, слабо стонала сквозь сон.

В кухне раздался, резкий, громкий звонок. Александра Михайловна быстро села на постели и с бьющимся сердцем стала вслушиваться. Ее взяло отчаяние: опять Андрей Иванович, опять истязания...

Но в кухне послышался женский голос. Дверь открылась, и голос окликнул Александру Михайловну:

— Вы спите? Можно к вам?

Александра Михайловна узнала Катерину Андреевну, коробочницу, сожительницу Ляхова.

— Васька-то мой!.. Ах, негодяй, негодяй!—заговорила Катерина Андреевна, задыхаясь.

— В чем дело, Катерина Андреевна? Что случилось?

Александра Михайловна встала и зажгла лампу. Катерина Андреевна быстро ходила по комнате и повторяла:

— Негодяй, негодяй, мерзавец подлый!

Катерина Андреевна была стройная девушка, с красивым, нервным лицом и большими темно-синими глазами. На ней была изящная черная кофточка и шляпка с перьями.

— Опять что-нибудь накуролесил Ляхов?—спросила Александра Михайловна.

Катерина Андреевна с негодующей дрожью повела плечами.

— Такую подобную тварь, а?!. Я давно знала, что он хороводится с различными девками, а тут уж... К нам на квартиру привел, ко мне! А?!. Ах, прохвостина этакий, обормот!!.

— К вам привел на квартиру?—с любопытством спросила Александра Михайловна.

— Самую последнюю тварь! Понимаете,—раскрашенную, которую можно топтать ногами. У-у-у!.. Уж и отхлестала же я им обоим их поганые морды!

Александра Михайловна в полусвете лампы заметила, что и у самой Катерины Андреевны губы в крови и правый глаз распух.

— Ах, негодяй, негодяй грязный!.. Дозволить себе такую подобную мерзость, а?

— И из квартиры выгнал вас?

— Сам еще придет ко мне, просить будет воротиться, да посмотрим, кто над кем покуражится! Два уже раза я ему прощала,—в ногах валялся, ноги мне целовал... Ну, теперь посмотрим!

Александра Михайловна помолчала и заговорила:

— Вам-то хоть хорошо. Вы с ним не связаны, захотели—и ушли, он вам ничего не может сделать. Работу вы имеете, и без него можете прожить,—вам его содержание не нужно.

Катерина Андреевна рассмеялась.

— Его содержание!.. Я его содержала, на свои деньги! Свои он все пропивал, до последней копеечки. Посмотрим теперь, как он без меня проживет.

— А вот как у меня-то,—вяло продолжала Александра Михайловна:—живи, как крепостная, на все из чужих рук смотри. Муж мой сам денег мало зарабатывает; что заработает, сейчас пропьет. Я его уж как просила, чтобы он мне позволил работать,—нет! Хочет, чтоб я его хлеб ела.

Катерина Андреевна остановилась перед столом, глядела блестящими глазами на огонь лампы и злорадно улыбалась.

— Пускай только придет теперь, он у меня узнает, можно ли меня оскорблять!—сказал она.—Ах, подлец, подлец!

— Они сегодня с мужем вместе пьянствовали в «Сербии». Нехватило им денег на коньяк,—пришел муж, меня избил до полусмерти и все, все деньги отобрал, ни гроша в доме не оставил. А вы ведь знаете, какой он теперь больной, много ли и всего-то выработает!.. Чем же жить? Сколько раз я ему говорила, просила,—пусть позволит хоть что-нибудь делать, хоть где-нибудь работать, все-таки же лучше, нет!

— Поступайте к нам в мастерскую. У нас много можно выработать,—полтора рубля в день. Научиться скоро можно.

— Так не позволяет мне муж, я что же вам говорю?

— Ах, мерзавец этакий, а?!—Катерина Андреевна передернула плечами и снова заходила по комнате.—Мне сегодня и ночевать негде, я к вам пришла,—можно у вас остаться?

— С удовольствием, милости просим! Только воротится муж, опять меня бить начнет. Вам будет беспокойно.

— Ничего, я как-нибудь...—рассеянно ответила Катерина Андреевна.—А они-то теперь там... На моей кровати!.. О, негодяй, обормот подлый, пускай только покажется мне на глаза!

В двенадцать часов воротилась Елизавета Алексеевна. Катерина Андреевна поместилась у нее.

Александра Михайловна снова улеглась спать, но заснуть не могла. Она ворочалась с боку на бок, слышала, как пробило час,

два, три, четыре. Везде была тишина, только маятник в кухне мерно тикал, и попрежнему протяжно и уныло гудели на крыше телефонные проволоки. Дождь стучал в окна. Андрея Ивановича все не было. На душе у Александры Михайловны было тоскливо.

VI

Андрей Иванович воротился домой в десятом часу утра,—воротился хмурый, смирный и задумчивый. Молча напился кофе и сейчас лег спать.

Александра Михайловна сварила молочную рисовую кашу, накормила Зину, Катерину Андреевну и поела сама. К обеду же приготовила только жиденький суп с крошечным куском жилистого мяса.

К двум часам Андрей Иванович проспался и встал веселый, ласковый. Александра Михайловна стала накрывать на стол. Она повязала свой синяк платком, усиленно хромала на ушибленную ногу и держалась, как деревянная. Андрей Иванович ничего словно не замечал и весело болтал с Катериной Андреевной.

Катерина Андреевна вышла в кухню напиться. Андрей Иванович поморщился и сказал:

— Что ты, Саша, фальшивишь? Не так уж нога у тебя ушиблена, я сразу понимаю. Ну, пойди сюда, дурочка! Дай, я тебя поцелую.

— Где уж тут фальшивить! Поневоле захромаешь, как начнут тебя ногами топтать, словно рогожу.—Она ответила угрюмо, но лицо ее, невольно для нее самой, вдруг прояснилось от ласки Андрея Ивановича.

— Ну, пойди, пойди сюда!—Андрей Иванович охватил ее за талию и ущипнул в бок.—А ты знай вперед, что настойчивой быть нельзя. Раз что муж тебе что-нибудь приказывает, то ты должна исполнять, а не рассуждать. Ты всегда обязана помнить, что муж выше тебя.

— А вот ты деньги все опять прокутил,—на что жить будем? Обеда даже не на что сварить, сегодня еле-еле кусочек мяса выклянчила в мясной. Ведь не о себе я стараюсь, мне что!



— Ничего, Шурочка, деньги пустяки! Сегодня нет, завтра будут. Наживем!.. Эка, стоит о деньгах печалиться!

После обеда пришел в гости слесарь электрического завода Иван Карлович Лестман; это был эстонец громадного роста и широкоплечий, с скуластым лицом и белесою бородкою, очень застенчивый и молчаливый. Он благоговел перед Андреем Ивановичем.

Стали вечером играть в стуколку, потом сели пить чай. У Александры Михайловны было на душе очень хорошо: Андрей Иванович был с нею нежен и предупредительно-ласков, и она теперь чувствовала себя с ним равноправною и свободною. Андрей Иванович, опохмелившийся остатками вчерашнего коньяку, тоже был в духе. Он сказал:

— Шурочка, ты бы пошла, позвала к нам Елизавету Алексеевну. Что ей там одной сидеть? Пускай чайку попьет с нами.

Странное было его отношение к Елизавете Алексеевне: Андрей Иванович видел ясно, что Александра Михайловна бунтует против него под ее влиянием, и часто испытывал к Елизавете Алексеевне неистовую злобу. Тем не менее его так и тянуло к ее обществу, и он бывал очень доволен, когда она заходила к ним.

У Елизаветы Алексеевны была мигрень. Осунувшаяся, с злым и страдающим лицом, она лежала на кровати, сжав руками виски. Лицо ее стало еще бледнее, лоб был холодный и сухой. Александра Михайловна тихонько закрыла дверь; она уж с первого взгляда научилась узнавать об этих страшных болях, доводивших Елизавету Алексеевну почти до помешательства.

— Опять голова болит!—об'явила Александра Михайловна.— Раза по три в неделю у нее голова болит, что же это такое!

— Эх, бедняга!—с соболезнованием сказал Андрей Иванович.

Лестман покачал головою.

— Все от ученья. Такой больной не есть корошо много учиться, раньше нужно доставать здоровье.

— «Здоровье доставать»... Как вы будете здоровье доставать?— возразил Андрей Иванович.—Тогда нужно отказаться от знания, от развития; только на фабрике двенадцать часов поработать,— и то уж здоровья не достанешь... Нет, я о таких девушках очень

высоко понимаю. В чем душа держится, кажется, щелчком убьешь,— а какая сила различных стремлений, какой дух!

— Ну, а что ж хорошего вот этак все больной валяться?—сказала Катерина Андреевна.—И к чему учиться-то? Не понимаю! Ничего ей за это дороже не станут платить.

Андрей Иванович поучающе возразил:

— Дело не в деньгах, а в равноправенстве. Женщина должна быть равна мужчине, свободна. Она такой же человек, как и мужчина. А для этого она должна быть умна, иначе мужчина никогда не захочет смотреть на нее, как на товарища. Вот у нас девушки работают в мастерской,—разве я могу признать в них товарищей, раз что у них нет ни гордости, ни ума, ни стыда? Как они могут постоять за свои права? А Елизавету Алеексевну я всегда буду уважать, все равно, что моего товарища.

В кухне раздался звонок. В комнату вошел Ляхов с котелком на затылке и с тросточкой. Он был сильно пьян. Катерина Андреевна побледнела.

— У вас Катька?—спросил он, не здороваясь.—Ты здесь? Иди домой, где ты пропадаешь?!—крикнул он на нее.

Катерина Андреевна стояла нервно сжимая рукою край стола, и в упор смотрела на Ляхова.

— Пошла я с тобой, как же!—ответила она, задыхаясь.—Ах, ты негодяй, негодяй! Еще домой зовет после подобной мерзости!

— Я тебе приказываю, понимаешь ты это?!

— Я тебе, слава богу, не жена! Ты мне не можешь приказывать! Кто ты такой? Я тебя не знаю!.. Ах, ты, негодяй грязный!

— Пойдешь ты или нет?—Ляхов грубо схватил ее за руку около плеча.

— Отстань!

Андрей Иванович угрожающе крикнул:

— Что это, Васька, за безобразие? Оставь ее!

Ляхов опустил руку и с усмешкой оглядел Андрея Ивановича.

— Аль тебе ее захотелось?

— Дело не об этом, а о том, что не смей скандала делать.

— Она, брат, ко всякому пойдет, к кому угодно!.. Что, уж, очень хочется тебе? Ну, ладно, бери, чорт с нею! Эка, добра какого... На!..

Он засмеялся и с силою толкнул Катерину Андреевну на Андрея Ивановича.

— Да что же это такое! Андрей Иванович, пошлите за дворниками!—воскликнула Катерина Андреевна.

Андрей Иванович стиснул зубы и вскочил с места.

— Ты тут перестанешь скандалить или нет?

— Так не хочешь домой итти?—обратился Ляхов к Катерине Андреевне.

— Не хочу! И никогда не приду!

Ляхов усмехнулся.

— Ну, ладно! Погоди же ты, я тебя еще не так осрамлю... Чтоб ноги твоей у меня больше не было!—крикнул он и свирепо выкатил глаза.—Что за юбки такие у меня в квартире понавешены? Чтоб этой вонючей гадости у меня в квартире не было... Я этого не позволю!—И, ни с кем не простившись, он вышел из комнаты.

Андрей Иванович с отвращением смотрел ему вслед.

— Свинья пьяная!.. Вы не подчиняйтесь ему, что за безобразие! Слава богу, вы с ним не связаны.

— Ему? подчиниться? Н-никогда!!. Сам придет ко мне, в ногах будет валяться,—да посмотрим, захочу ли я его простить!

Лестман с сожалением глядел на Катерину Андреевну.

— Лучше ваши вещи берите от него прочь, а то он всем им делает капут.

Катерина Андреевна всплеснула руками.

— И вправду! Как ж я их добуду? Александра Михайловна, дорогая моя, с'ездите, возьмите у него мои вещи!

— Я боюсь: он меня еще побьет —нерешительно сказала Александра Михайловна.

Андрей Иванович вспыхнул.

— Тебя побьет? Будь покойна! Пусть только пальцем посмеет тронуть!

Решили, что Александра Михайловна поедет за вещами вместе с Лестманом. Через полчаса они привезли их,—но, боже мой, в ка-

ком виде! Платье и белье были изрезаны на мелкие кусочки, от посуды остались одни черепки, у самовара был свернут кран и вдавлен бок.

Катерина Андреевна вспыхнула, закусила губы и разрыдалась.

VII

Прошло две недели. Была суббота. Андрей Иванович воротился после шабаша прямо домой и принес Александре Михайловне весь заработок. Уж вторую неделю он приносил домой деньги целиком до последней копейки.

Поужинали и напились чаю. Андрей Иванович сидел у стола и угрюмо смотрел на огонь лампы. Всегда, когда он переставал пить, его в свободное от работы время охватывала тупая, гнетущая тоска. Что-то вздымалось в душе, куда-то тянуло, но он не знал, куда, и жизнь казалась глупой и скучной. Александра Михайловна и Зина боялись такого настроения Андрея Ивановича; в эти минуты он сатанел и от него не было житья.

Андрей Иванович послал жену купить «Петербургский Листок», прочел его от передних до задних об'явлений. Потом стал просматривать взятый им из мастерской сборник куплетов «Серебряная струна»... Нет, все было скучно и плоско...

Пришла Катерина Андреевна.

Она жила теперь на отдельной квартире, но Ляхов не оставлял ее в покое. Он поджидал ее при выходе из мастерской, подстерегал на улицах и требовал, чтоб она снова шла жить к нему. Однажды он даже ворвался пьяный в ее квартиру и избил бы Катерину Андреевну на-смерть, если бы квартирный хозяин не позвал дворника и не отправил Ляхова в участок. Катерина Андреевна со страхом покидала свою квартиру и в мастерскую ходила каждый раз по разным улицам.

— Ведь этакий острожник, а?!—негодовала она.—Вот связалась на свою погибель! Это ведь такой бешеный, ему и зарезать нипочем человека.

Андрей Иванович мрачно слушал, терзаемый тоской и скукою.

Раздался звонок. Мужской голос спросил Елизавету Алексеевну. Ее не было дома. Гость сказал, что подождет, и прошел в ее каморку. Андрей Иванович оживился: ему вообще нравились знакомые Елизаветы Алексеевны, а этот, к тому же, по голосу был как-будто уже знакомый Андрею Ивановичу. Он прислушался: гость сидел у стола и, видимо, читал книгу. Андрею Ивановичу не сиделось.

— Что ему там одному сидеть?—обратился он к Александре Михайловне.—Подогрей-ка самовар, да сходи, возьми полбутылку рому. Пускай чайку попьет у нас.

Андрей Иванович пошел в комнату Елизаветы Алексеевны. Гость, правда, был знакомый. Это был Барсуков, токарь по металлу из большого пригородного завода; Андрей Иванович около полугода назад несколько раз встречался с Барсуковым у Елизаветы Алексеевны и подолгу беседовал с ним.

— Это вы, Дмитрий Семенович!—воскликнул Андрей Иванович.— То-то я слушаю,—что это, как-будто голос знакомый?.. Здравствуйте! Что же вы тут одни сидите? Заходите к нам, выпейте стаканчик чаю!

— Да я уж, собственно, пил,—ответил Барсуков и с усмешкою прервал себя:—А впрочем... хорошо! Что ж так сидеть?

Он пошел с Андреем Ивановичем в его комнату. Андрей Иванович суетливо оправил на столе скатерть.

— Что это, как вас долго не было видно? Садитесь... Сейчас жена ромцу принесет, мы с вами выпьем по рюмочке.

Барсуков подошел к Катерине Андреевне, назвал себя и тряхнул ее руку, потом присел к столу.

— Да вы, голубчик, оставьте, не суетитесь. Я пить, все равно, не буду.

Он увидел лежавшую на столе «Серебряную струну», перелистал ее и, отложив в сторону, взял с комода еще пару книг.

Андрей Иванович законфузился.

— Э, не смотрите: ерунда! Я их так себе, от скуки, из мастерской взял. Глупые идеи, нечего читать: одна только критика, для смеху... Ну, а вот оно и подкрепление нам!

Александра Михайловна принесла ром.

Андрей Иванович откупорил бутылку, отер горлышко краем скатерти и налил две рюмки.

— Пожалуйте-ка, Дмитрий Семенович!.. За ваше здоровье!

— Нет, спасибо, я не пью!

— Ну, ну, пустяки какие! По маленькой ничего не значит.

— Каждый раз у нас с вами та же канитель повторяется. И по маленькой не пью, спасибо!

— Ну, во-от!..—разочарованно протянул Андрей Иванович.— Что же мне, не одному же пить! Маленькая не вредит,—что вы? Выпьем по одной! Ром хороший, рублевый,—он проясняет голову.

Барсуков с усмешкою пожал плечами, поднялся и неловко зашагал по комнате.

— Что же это такое? Одному и пить как-то неохота... Катерина Андреевна, выпьемте с вами!

Она засмеялась и кокетливо покосилась на Барсукова.

— Вот еще! Что это вы, Андрей Иванович, так меня конфузите!

— Так ведь я же вам не голый ром, я вам в чай подолью.

— Нет, нет, уж пожалуйста!

— Да вы погодите, я вам сделаю жженку. Весь спирт сгорит, один только букет останется.

Он поместил ложечку над чашкою Катерины Андреевны, положил в ложечку сахар, обильно полил его ромом и зажег... Синее пламя, шипя, запрыгало по сахару.

— Ну, вот, попробуйте теперь!—самодовольно сказал Андрей Иванович.—Самый дамский напиток... Будьте здоровы!

Он коснулся рюмкою края чашки, выпил рюмку и крякнул.

— Нет, Дмитрий Семенович, позвольте вам сказать откровенно: я на этот счет с вашими мнениями не согласен. Какой вред от того, чтоб выпить иногда? Мы не мальчики, нам невозможно обойтись без этого.

Барсуков стоял у печки, заложив руки на спину.

— Почему?—сдержанно спросил он.

— Почему? Потому что жизнь такая!—Андрей Иванович вздохнул, положил голову на руку, и лицо его омрачилось.—Как вы

скажете, отчего люди пьют? От разврата? Это могут думать только в аристократии, в высших классах. Люди пьют от горя, от дум... Работает человек всю неделю, потом начнет думать; хочется всякий вопрос разобрать по основным мотивам, что? как? для чего?.. Куда от этих дум деться? А выпьешь рюмочку-другую, и легче станет на душе..

— Для чего же это бежать от дум-то? Не мешало бы, напротив, осмыслить всякие явления, понять их; почему это должно быть привилегией интеллигенции? Вином думы заливать,—далеко не уйдешь.

— Я не спорю против этого!—поспешно сказал Андрей Иванович.—Я сам всегда это самое говорю,—что нужно стремиться к свету, к знанию, к этому... как сказать?—к прояснению своего разума. А что только выпить не мешает,—изредка, конечно: от тоски! Когда уж очень на душе рвет! То-олько!.. А как серый народ у нас, особенно фабричные по трактам,—их я сам строго осуждаю: напьются так, что вместо лиц одни свиные рыла видят везде,—знаете, как известные гоголевские типы, ревизоры... К чему это? Это—безобразие, стыд! Настоящая Азия! Я очень даже негодую за это на русского человека.

Барсуков помолчал.

— В нынешнее время и по трактам,—который народ идет в кабак, а который в школу,—возразил он.—Азии-то этой, может-быть, все меньше становится с каждым годом.

Андрей Иванович безнадежно махнул рукою.

— Ну, где там! Довольно этой Азии у нас, на тысячу лет хватит! Вы меня извините за выражение, только я о русском человеке очень худо понимаю: он груб, дик! Дай ему только бутылку водки, больше ему ничего не нужно. О другом у него дум нет.

Барсуков удивленно поднял брови.

— Как это так—нет? Мало вы, я вижу, знаете. Пригляделись бы, осмотрелись бы кругом,—может-быть, и увидели бы. Везде жизнь начинается, везде начинают шевелиться; каждый хочет жить своим умом, хочет понимать, особенно из молодых. Стоячая вода всем надоела. Что действительно—старики это считают излишним, а молодые уже совершенно других убеждений.

Андрей Иванович скептически повел головой.

— Нет, не согласен! Конечно, я не говорю: механики, наборщики, ну, там, конторщики, наш брат—переплетчик,—об этих я не говорю. Это—люди, можно даже сказать, замечательные, образованные, со знаниями. Или вот, скажем, вы, или Елизавета Алексеевна. А я говорю о сером народе, о фабричных, о мужиках. Это ужасно дикий народ! Тупой народ, пьяный!

Барсуков слушал, крутил бородку и посмеивался.

— Да вы, может, не там смотрите?—насмешливо спросил он.— Конечно, если по трактирам искать, то трудно найти, или по кабакам... А вы бы в другом каком месте поискали,—в школу бы, скажем, сходили, на курсы. Может-быть, увидели бы поучительное... «Дикие!», «тупые!»—резко произнес он и перестал смеяться.—Проработает парень двенадцать часов на заводе, выйдет, как собака, усталый, башка трещит, а бежит на курсы, другой раз и перекусить не успеет. Это от дикости, что ли? К ночи только домой воротится, а утром рано вставай, опять на работу. От дикости это? От дикости он на последний грош газетку выписывает?

Барсуков своею неловкою походкою зашагал по комнате.

— То-то, должно-быть, против дикости и старики у нас бунтуются,—с усмешкою продолжал он.—Очень недовольны, что их «просвещенных» понятий больше не уважают! Начнет этакий старик поучения читать: вот, дескать, была у нас в Торжке девушка, и вселились в нее черти; отвезли ее к какой-то там святой бабушке, продержали год,—как рукой сняло; вышла на волю, поела скоромного пирожка, и опять в нее черти вселились... А молодой смеется, спрашивает: пирожок-то, значит, чертями был начинен?.. Старик скажет: гром—от того, что Илья-пророк по небу катается, а молодой ему: какой-такой Илья-пророк? Это—электричество!.. Какая дикость! «Электричество!» а? На курсы вздумал бегать, электричество изучать, кислороды всякие! Уж подлинно—Азия!

— У вас какие же на этих курсах лекции преподают?—спросил заинтересованный Андрей Иванович.

— Разное преподают,—неохотно ответил Барсуков.—Химию, физику, русский язык... алгебру, геометрию...

Он сел к столу и лениво стал прихлебывать чай.

— Полезные предметы,—сказал Андрей Иванович тоном знатока.

— Предметы необходимые... Знаете, сходимте как-нибудь вместе на курсы!—предложил Барсуков и оживился.—Стоит наблюдения. Я курсы кончил, а другой раз нарочно хожу. Вы мало знаете, потому и говорите... Какие живые ребята есть, сознательные! Так и рвутся до знания, все хотят знать в корень. Такого куда ни брось— не заржавеет... И откуда силы берет! Днем на работе, вечером на курсах, придет домой—отдыха не знает, сейчас за книгу, другой раз всю ночь просидит... Это, батенька, не то, что у интеллигенции: ходит себе мальчонка,—в гимназию там, в университет; заботы ни о чем нет у него, все папаша предоставляет. «Ванечка, миленький, только учись, пожалуйста!» Протащат этак по всем наукам, а там уж и местечко готово: пожалуйте, получайте жалованье!..

— Чорт возьми! Ей-богу, надобно бы сходить посмотреть!—воодушевился Андрей Иванович.

— Много поучительного... Старики уж так косятся!—улыбнулся Барсуков.—«Ученые!—говорят,—курсанты! В студенты, что ли, записались? Ничего этого не нужно; грамоту да письмо знаешь,— и довольно». Об'яснять им, на что человеку знание нужно? Этого они не поймут,—ну, а между прочим, сами замечают, что в нынешнее время везде на заводах больше ценят молодого рабочего, чем который двадцать лет работает,—особенно в нашем машиностроительном деле; старик, тот все только «по навыку» может; на двухтысячную дюйма больше или меньше понадобилось, он уж и стоп! А для молодого это пустяки.

Барсуков оживился. Он рассказывал много и долго. Андрей Иванович слушал, и разные чувства поднимались в нем; он и гордился, и радовался; и грустно ему было: где-то в стороне от него шла особая, неведомая жизнь, серьезная и труженическая, она не бежала сомнений и вопросов, не топила их в пьяном угаре; она сама шла им навстречу и упорно добивались разрешения. И чем больше Андрей Иванович слушал Барсукова, тем шире раздвигались перед ним просветы, тем больше верилось в жизнь и в будущее,—верилось, что жизнь бодра и сильна, а будущее велико и светло.

— Нет, в нынешнее время о многом начинают думать,—сказал Барсуков.—Никто не хочет на чужой веревочке ходить. Хотят понять условия своей жизни, ее смысл...

Он прошелся по комнате, задумчиво остановился у печки.

— В летошнем году у нас на курсах один Сергей Александрович читал русскую литературу. Между прочим решал вопрос: какая разница между научной литературой и художественной? Научная литература,—если, например, исследовать жилище рабочего: сколько кубического воздуха, какой процент детей умирает, сколько рабочий в год выпивает водки... А художественная литература то же самое изображает чувствительно: умирает рабочий,—дети голодные, жена плачет, грязь кругом; сырость, есть нечего. И он думает: для чего он всю жизнь трудился, выбивался из сил, для чего он жил?—Барсуков сурово сдвинул брови.—Он жил, а жизни не видел, видел только ее призрак сквозь копоть фабричного дыма... Какая же была цель его существования?

Андрей Иванович порывисто встал и быстро зашагал по комнате.

— Нет, ей-богу, на курсы ваши поступлю! Дай только немножко поправлюсь, сейчас же запишусь!

Два года назад Андрей Иванович однажды уже сделал опыт,—записался в школу; но, походив два воскресенья, охладел к ней; не все там было «чувствительно»,—приходилось много и тяжело работать, а к этому у Андрея Ивановича сердце не лежало; притом его коробило, что он сидит за партой, словно мальчишка-школьник, что кругом него—«серый народ»; к серому же народу Андрей Иванович, как все мастеровые аристократических цехов, относился очень свысока. Но теперь Андрею Ивановичу все это казалось очень привлекательным.

— Совершенно все это в моем духе!.. Ей-богу, вот, думаешь-думаешь так о жизни... Какой смысел?.. Зачем?..

Андрей Иванович подвыпил, ему хотелось теперь не слушать, а говорить самому. Выпивая рюмку за рюмкой, он стал говорить о свете знания, о святости труда, о широком и дружном товариществе.

Катерина Андреевна тоже выпила уж три чашки крепкой жженки. Глаза ее блестели, на щеках выступил румянец. Она подсела ближе

к Барсукову, брала его за локоть, горячим взглядом смотрела в глаза и спрашивала:

— А вы читали «Макарку-душегуба»? Правда, интересная книга?

Пробило десять часов. Елизавета Алексеевна не возвращалась. Барсуков встал уходить. Подвыпивший Андрей Иванович целовал его и жал руки.

— Вы заходите, Дмитрий Семенович! Я так вам рад!.. Голубчик! Знаете, есть в груди вопросы, как говорится... (Андрей Иванович повел пальцами перед жилетом),—как говорится,—насущные... Накипело в ней от жизни, хочется с кем-нибудь разделить свои мнения... Да! Вот еще! Я вас кстати хочу попросить: нет ли у вас сейчас чего хорошенького почитать? Недосуг было это время раздобыться.

— Да вот, не хотите ли, я Елизавете Алексеевне Гросса принес, «Экономическую систему Карла Маркса»? Полезная брошюра. Тогда ей отдадите.

Барсуков ушел. Катерине Андреевне тоже пора было домой, но она боялась итти одна, чтоб не встретиться с Ляховым. Александра Михайловна взялась ее проводить, и они ушли.

Андрей Иванович быстро расхаживал по комнате. Он чувствовал такой прилив энергии и бодрости, какого давно не испытывал. Ему хотелось заниматься, думать, хотелось широких, больших знаний. Он сел к столу и начал читать брошюру. В голове кружилось, буквы прыгали перед глазами, но он усердно читал страницу за страницей.

Александра Михайловна проводила Катерину Андреевну до ворот ее дома и стала прощаться.

— Ну, куда вы, Александра Михайловна? Зайдите ко мне хоть на четверть часика! Посмотрите, как я живу. Ведь вы еще не были у меня.

Они прошли через двор к деревянному флигелю и стали подниматься по крутым ступеням лестницы. Было темно и пахло кошками. На площадке они столкнулись с квартирною хозяйкою Катерины Андреевны.

— Это вы, Катерина Андреевна? Идите скорей, вас уж час целый жених ждет. Самовар я наставила.

И хозяйка пошла вниз. Александра Михайловна остановилась и испуганно спросила:

— Ляхов?

— Н-нет,—в замешательстве ответила Катерина Андреевна.— Писец один, из больничной конторы. Елиазаров.

— Писец?

— Да... Он сказал, что поживет со мною так три месяца, и если я буду вести себя прилично, то женится на мне.

— Немножко скоро у вас дело делается!—Александра Михайловна кусала губы, чтоб не расхохотаться.

Катерина Андреевна мечтательно смотрела своими большими глазами в тусклое окно лестницы.

— Ляхов так жил со мною, а этот жениться обещает. Тогда не нужно будет на работу ходить, можно будет детей иметь, свое хозяйство вести... Пойдемте, я вас познакомлю. Он хороший!

Они вошли в квартиру. У стола сидел человек с черными усиками, двойным подбородком и черными, похожими на пуговицы, глазами. Держался он странно-прямо, как будто вместо спинного хребта у него была палка. На столе стояла бутылка портвейну, виноград и кондитерские пирожные, на постели лежала гитара.

Катерина Андреевна быстро подошла и весело заговорила:

— Это ты, Ваня!.. Здравствуй! Вот, если бы я знала, кто у меня сидит! Александра Михайловна, это мой жених. А это моя хорошая подруга, Александра Михайловна Колосова.

Елиазаров галантно и солидно расшаркался, пожал Александре Михайловне руку.

— Садитесь!—продолжала Катерина Андреевна.—Как раз и самовар поспел... Умный мальчик, что без меня чаю не пил!

Она бросила на Елиазарова смеющийся, ласкающий взгляд. Елиазаров покручивал большим пальцем и мизинцем острый кончик правого уса.

— Я один без дам никогда на это не решусь!—Он обратился к Александре Михайловне.—Погода сегодня дурная-с!

— Да, холодно на дворе.

— Холодно-с! Дождь—не дождь, снег—не снег идет. Как говорится,—неприятная погода... Не угодно ли винограду? Будьте любезны! Катюша, а ты что же?

Александра Михайловна просидела с полчаса. Катерина Андреевна болтала и смеялась, не спуская с Елиазарова блестящих, манящих к себе глаз. Елиазаров солидно посмеивался, крутил свои усики и говорил любезности.

Александра Михайловна ушла в одиннадцать часов. Елиазаров остался у Катерины Андреевны.

VIII

На первой неделе великого поста, в четверг, были именины Андрея Ивановича. Он собрался праздновать их, как всегда, очень широко. Александра Михайловна плакала и убеждала его быть на этот раз поэкономнее; Андрей Иванович начал доказывать, что и без того покупается лишь самое необходимое, но потерял терпение, обругал Александру Михайловну и велел ей, не рассуждая, итти и купить, что нужно.

К восьми часам вечера стали собираться гости. Пришли четыре товарища Андрея Ивановича по мастерской, Лестман, Арсентьев, один приказчик, несколько замужних женщин и модисток. Пришла и Катерина Андреевна.

— Я слышал, вы помирились с Ляховым?—спросил ее Андрей Иванович.—Мне вчера Ляхов говорил в мастерской.

— Где помирились, господи! Не знаю, куда спрятаться от него!.. Вчера подстерег меня у Мытнинского моста, не дает пройти; скажи, говорит, что простишь меня!.. Что ж мне было делать? Когда на меня кричат, я могу противиться, а когда просят,—как ответить? Обещался вечером притти ко мне прощенья просить. Я на весь вечер ушла к подруге и ночевать осталась у нее... Уж и подумать боюсь, что будет, когда опять встречу его. Право, он меня убьет!

Праздник был в разгаре. Сменили уже третий самовар. На столе то-и-дело появлялись новые бутылки пива. Товарища Андрея Ивановича, переплетного подмастерья Генрихсена, хорошего гитариста, упросили сходить домой и принести гитару. Стали танцовать кадриль.

Танцовальной залой служила кухня. Тучный Генрихсен сидел, отдуваясь, на постели хозяйки, прихлебывал пиво и играл кадриль на мотивы из «Прекрасной Елены». Андрей Иванович дирижировал. В свое время он был большим сердцеедом и франтом, и чувствовал себя теперь в ударе.

Грациозно размахивая руками, он семенящим шагом подвигался вперед рядом со своею дамою.

— Сильвупле!—командовал он.—Оренбур!..—При этом все делали шэн и вертелись с дамами раз по десяти.—Комансэ!—выкрикивал Андрей Иванович.

Каждый танцовал, не руководствуясь командою Андрея Ивановича; да он и сам ее не понимал. Но всем было приятно танцовать под французские выкрики. Стоял женский смех, ноги сухо шаркали по полу.

После кадрили стали танцовать польку. Катерина Андреевна была царицею бала. Стройная и изящная, с глазами, блестевшими от оживления и портвейна, она была обворожительна; ее приглашали наперерыв. Андрей Иванович по причине одышки не танцовал польки. Он любезничал с дамами, угощал их портвейном, а когда их уводили танцовать, он, скрывая улыбку, следил за Елизаветой Алексеевной. Елизавета Алексеевна все время танцовала, и Андрею Ивановичу было смешно смотреть, как в толпе прыгало и мелькало ее бледное лицо, повсегдашнему серьезное и строгое, с сдвинутыми бровями.

Полька кончилась. Потные танцоры, обмахиваясь платками, пили и закусывали в комнате Колосовых. Вдруг в дверях появился Ляхов.

Все смутились. Большинство знало об его истории с Катериной Андреевной. Ляхов вошел бледный и печальный, приблизился к Андрею Ивановичу и поздравил его с ангелом. Потом, словно не замечая Катерины Андреевны, молча сел в угол.

Катерина Андреевна была бледна и дрожала. Она повела плечами и обратилась к Александре Михайловне:

— Как у вас от окна дует! Дайте мне, пожалуйста, платок: такой холод!

Понемногу смущение улеглось.

Снова раздались говор, смех, шутки. Пили, чокаясь стаканами. Приказчик из мануфактурного магазина Семыкин, молодой человек с ярко-красным галстуком, тщетно умолял выпить хоть *рюмку* пива двух сестер, модисток Вереевых. Они смеялись и отказывались. Семыкин выпивал стакан пива и возобновлял свои мольбы. Ляхов сидел, забившись в угол за комодом, и молча пил стакан за стаканом.

Александра Михайловна попросила сестер Вереевых спеть что-нибудь. Они закраснелись и замахали руками.

— Ах, что вы, что вы, Александра Михайловна! Ни за что!

Их стали упрашивать. Сестры долго отнекивались, наконец согласились. Сели рядом и откашлялись.

— А горлышко-то прочистить?—сказал Семыкин, подсел к ним, и подал рюмку с пивом.

Сестры засмеялись, потом сделали серьезные лица, переглянулись и запели цыганскую песню. Голоса у них были слабые, но звучали приятно; пели они в один голос.

Вьются песенки цыган,
Прикрывая свой обман,
За стаканом пьют стакан,
В голове—туман...

— Туман!—басом сказал Семыкин.

Младшая Вереева возразила:

— Конечно, туман! Когда пьют, тогда в голове становится туман.

— Разве это неправда?—спросила старшая.

— Вполне справедливо... Ну-ка, туманцу рюмочку!—И Семыкин протянул рюмочку с пивом. Сестры прыснули.

В комнате было жарко и душно. Александра Михайловна открыла форточку. Кисейная занавеска заколебалась, в комнату подуло сырым, туманным холодом.

После веселого романса сестры спели несколько грустных песен. Головы кружились от выпитого пива, и на душе у всех стало тихо, нежно.

Помнишь ли, милая, ветви тенистые
Ивы над темным прудом?
Волны плескались кругом серебристые,
Там мы сидели вдвоем.
Там поклялись мы при лунном сиянии
Вечно друг друга любить...
Помнишь ли, милая, наши свидания?
Как же их трудно забыть!

Слушатели были задумчивы... В раскрытую форточку тянуло гнилою сыростью, в тесной комнате пахло пивом и табаком, лица у всех были малокровные, истощенные долгим и нездоровым трудом,— а песня говорила о какой-то светлой, ясной жизни и о светлой любви среди природы.

Пел соловей свои песни могучие,
Стан твой сжимал я рукой...

Вдруг все взгляды обратились в угол за комодом. Пение смолкло. Ляхов, подперев голову руками и впившись пальцами в волосы, рыдал, низко наклонясь над столом. Он рыдал все сильнее. Мускулистые плечи судорожно дрожали от рыданий.

— Василий Васильевич, что это с вами? Успокойтесь!—сказала испуганная Александра Михайловна.—Выпейте воды холодной!

Она побежала в кухню и принесла из-под крана воды.

Ляхов вышел на середину комнаты, бледный, всклокоченный, с распухшими глазами.

— Скажи, Андрей, зачем ты меня сюда допустил? Разве мне тут место?.. У вас тут хорошо и благородно, совесть у всех спокойна, вы можете песни петь, смеяться... А я—я вижу, какой я... подлец... и грязный негодяй...

Рыдания не дали ему говорить. Ляхов схватился за лоб и оперся о комод. Он рвал на себе галстук и манишку, чтоб дать волю дыханию.

Андрей Иванович положил ему руку на плечо и страдающим голосом сказал:

— Ну, Вася, полно, что ты? Успокойся!

— Женщины, женщины!—рыдая, проговорил Ляхов.—Теперь только я вижу, как много они дают нам хорошего и как жестоко мы их оскорбляем...

Он вдруг бухнулся в ноги Катерине Андреевне.

— Ай!!!—Она истерически вскрикнула и отшатнулась.

— Катя! Прости меня! Я поступал подло и скверно... Но я не могу жить без тебя... Если ты меня не простишь, я повешусь, либо брошусь в Неву... Катечка!

С торчащими вихрами волос, с разорванным воротом, он, рыдая, ползал по полу и целовал подол юбки Катерины Андреевны. Взволнованная Катерина Андреевна отодвигалась от него и робко оправляла юбку.

— Я для тебя, Катя, хуже разбойника, хуже гадины... Скажи,— что мне делать, чтоб ты простила? Все сделаю, что велишь. Топчи, плюй на меня... Только прости, Катя!

Андрей Иванович, бледный и нахмуренный, стоял, прислонясь спиною к комоду. Александра Михайловна и младшая Вереева смигивали слезы. Вдруг Катерина Андреевна, с заблестевшими глазами, порывисто охватила шею Ляхова и горячо поцеловала его.

Ляхов вскочил на ноги, схватил ее в об'ятия и осыпал поцелуями. Кругом зашевелились и заговорили.

— Ну, вот и слава богу!—с облегченною улыбкою сказала Александра Михайловна, украдкою отирая слезы. — Давно бы так!

Андрей Иванович провозгласил:

— Чорт возьми, нужно выпить для примирения! Тут уже всем следует коньяку, иначе нельзя!.. Катерина Андреевна, позвольте вашу рюмку!

Катерина Андреевна, со счастливым, раскрасневшимся лицом, протянула рюмку.

Все стали чокаться с Катериной Андреевной и Ляховым. Они стали на время главными лицами вечера, словно новобрачные на свадьбе.

Стали опять танцовать. Опять Катерина Андреевна была царицею бала. Все приглашали ее наперерыв, и больше всех Ляхов. И всегда хорошенькая, она теперь, упоенная счастьем, была прекрасна. После вальса Ляхов проплясал трепака. Потом все перешли в комнату и попробовали петь хором; но вышло очень нестройно и безобразно. Упросили снова петь сестер Вереевых.

Ляхов продолжал пить стакан за стаканом, рюмку за рюмкой; он вообще пил всегда очень быстрым темпом. Лицо его становилось бледнее, глаза блестели. Несколько раз он уже оглядел Катерину Андреевну загадочным взглядом. Сестры кончили петь: «Мой костер в тумане светит». Ляхов вдруг поднял голову и громко сказал:

— Катька! Ты у меня кольцо в два с полтиной украла... Отдай назад!

Александра Михайловна рассмеялась и бросилась к нему.

— Василий Васильевич, что это! Вот-те раз! Вы позабыли, ведь вы *помирились*, *помирились*,—вспомните-ка!

— Ты мое кольцо стащила, когда от меня ушла! Давай назад!!— грубо крикнул Ляхов.

Катерина Андреевна вспыхнула.

— Господи, да что же это такое!

— Стыдно вам так говорить, Василий Васильевич!—сказала Александра Михайловна.

— Нет, не стыдно! Вы не знаете, какая она. Она беременная была, когда я ее взял.

— Слушай, Васька, нам это вовсе неинтересно знать!—крикнул Андрей Иванович.

— Она мне должна быть до гробовой доски благодарна, что я ее взял: я ее грех покрыл.

— Как же это вы покрыли? Женились, что ли?—спросила Александра Михайловна.

— Я сказал, что ребенок мой.

— Эка,—«покрыли»! Все равно, в воспитательный его отдали!

Ляхов с презрением и ненавистью оглядывал Катерину Андреевну.

— У нее таких, как я, столько было, сколько у меня пальцев на руках. Ведь она все равно, что первая с улицы: любой помани,— она сейчас пойдет к нему ночевать. Вон на святках, когда мы на Зверинской жили...

И он бесстыдно начал вывертывать всю подноготную их совместной жизни. Катерина Андреевна, онемев от неожиданности и негодования, сидела и кутала лицо в платок.

Елизавета Алексеевна вскочила с места.

— Александра Михайловна, да как вы ему позволяете?!

— Если вы, Василий Васильевич, не перестанете, то ступайте отсюдова!—сказала Александра Михайловна, побледнев.

— Фью-фью-фью-фью!—Ляхов засвистал и насмешливо оглядел обеих.—Слышишь, Андрей, как твоя жена выгоняет твоего друга?

— Я с нею вполне согласен! Это безобразие, конфуз! Сейчас же извиняйся в своем поступке, если хочешь тут оставаться!

— Так ты за жену против друга?.. Ты должен ей в зубы дать за то, что она смеет гнать твоего гостя вон.

Андрей Иванович гаркнул:

— Ступай вон!

— Не пойду!—спокойно ответил Ляхов, плотнее уселся на стуле и усмехнулся.

— И вам не стыдно, Ляхов?!—воскликнула Александра Михайловна.

— Не стыдно!—хвастливо ответил Ляхов.

— Kurat (чорт)! Ты пойдес вон!!—в бешенстве крикнул Лестман, поднялся во весь рост и стиснул кулаки. Тяжелый, свирепый и сосредоточенный хмель чухонца охватил его. Остальные мужчины тоже поднялись.

Ляхов оглядел всех, засмеялся и встал со стула.

— Чорта ли мне тут с вами оставаться! Набрали шлюх к себе, смотрю,—что это? Ни одной нет честной женщины!.. Сволочь уличная, барабанные шкуры! Наплевать мне на вас на всех!..

И он, шатаясь, вышел.

IX

На следующий день Андрей Иванович пришел в мастерскую угрюмый и злой: хоть он и опохмелился, но в голове было тяжело, его тошнило, и одышка стала сильнее. Он достал из своей шалфатки неоконченную работу и вяло принялся за нее.

Переплетная мастерская Семидалова, где работал Андрей Иванович, была большим заведением с прочной репутацией и широкими оборотами; одних подмастерьев в ней было шестнадцать человек. Семидалов вел дело умело, знал ходы и всегда был завален крупными заказами. С подмастерьями обращался дружески, очень интересовался их личными делами и вообще старался быть с ними в близких отношениях; но это почему-то никак ему не удавалось, и подмастерья его не долюбливали.

Андрей Иванович лениво скоблил скребком передок зажатой в пресс псалтыри in-quarto. Из-под скребка поднималось облако мелкой бумажной пыли, пыль щекотала нос и горло. Андрей Иванович старался сдерживаться, но наконец прорывался тяжелым кашлем; он кашлял долго, с натугою, харкая и отплевываясь, и, откашлявшись, снова принимался скрести. Рядом с ним приземистый Картавцов, наклонившись, околачивал молотком фальцы на корешке толстой «Божественной Комедии». В длинной, низкой мастерской было душно и шумно. В углу мерно стучал газомотор, под потолком вертелись колеса, передаточные ремни слабо и жалобно пели; за спиною Андрея Ивановича обрезная машина с шипящим шумом резала толстые пачки книг; дальше, у позолотных прессов с мерцавшими синими огоньками, мальчики со стуком двигали рычагами. Пол был усеян обрезками бумаги, пахло клейстером и газом.

Генрихсен, с пачкою книг подмышкой, медленно прошел к своему месту, положил книги на верстак и сел, бережно подперев голову рукою. Его полное, бритое лицо с короткими усами было бледно и измято, волосы торчали в стороны. Он не шевелился, застыв в деревянной задумчивости. Андрей Иванович кивнул ему головою и вопросительно щелкнул себя по шее. Генрихсен нахмурился и сердито развел руками: он не опохмелялся, и опохмелиться было не на

что. Увы, у самого Андрея Ивановича не было в кармане ни гроша. Генрихсен положил голову на другую руку и снова одеревянел.

Налево от Андрея Ивановича, за широким столом, два подмастерья, Ермолаев и Новиков, подклеивали штрейфенами большие, в девять кусков, карты России. Они рассматривали готовую карту. Новиков, молодой парень, поджав подбородок и подмигивая, говорил что-то, а Ермолаев заливался густым, басистым хохотом.

Андрей Иванович положил скребок, потянулся и, засунув руки в карманы, подошел к столу.

— Чего это вы?—сумрачно спросил он.

Новиков почтительно посторонился.

— Да вот, Андрей Иванович, все о путешественниках тужим!— Он юмористически-огорченно указал на карту.—Порастерялись у нас тут кой-какие городки, вот мы и огорчаемся: купит путешественник карту, а города-то и нет, куда ехать. Как быть?

— Листы-то в литографии какие вдоль печатаны, какие поперек,— об'яснил Ермолаев.—Там этого не разбирают, сырыми-то они разными и оказываются... Город Луга? К чорту, срезать! Кому нужно, тот и без карты найдет!.. Казань? Девалась неизвестно куда!.. Вот так карта, ха-ха-ха!..

Андрей Иванович молча смотрел работу и сквозь зубы спросил:

— Почем положил хозяин?

— Тринадцать копеек. Сам, говорит, взял по двадцать.

— По двадцать? Врет!—уверенно сказал Андрей Иванович.

Ермолаев перестал смеяться и добродушно возразил:

— Ну, врет! С чего ему врать? На копейку клею пойдет, на три коленкору, три копейки барыша; тридцать рублей на заказ. Чего ж ему? Довольно!

— Гм! Чертодалову-то нашему довольно?.. Уж не знаю!— усмехнулся Новиков и взглядом обратился к Андрею Ивановичу за одобрением.

Подошел Генрихсен, постоял, тупо и сонно глядя на них, и подвинулся к усердно работавшему Картавцову.

— Послушьте! Что у вас двадцать копеек нету до субботы?

Картавцов растерянно положил молоток и стал поспешно шарить по карманам.

— Нету, Генрих Федорович!

Андрей Иванович мрачно следил за Картавцовым.

— Почему же у тебя нет?—резко спросил он.—Или уж все деньги в сберегательную снес?

Широкое лицо Картавцова стало еще более растерянным и жалким. Андрей Иванович не выносил его скопидомства и систематически преследовал за него Картавцова, то добродушно, то злобно, смотря по настроению.

— Он прослышал, что вы вчера именниник были,—вмешался Новиков.—Нет, говорит, поостерегусь, ни гроша не возьму с собою: вдруг кто на похмелье двугривенный попросит! Дашь, а он до субботы помрет... Всего капиталу решишься, придется по миру итти!

— У тебя, Генрихсен, залогу нет ли? Под залог он даст!—захохотал Ермолаев.

Все, вслед за Андреем Ивановичем, стали по привычке травить Картавцова. Многие сами имели при себе деньги, но об этом они не помнили.

Картавцов густо краснел и хмурился.

— Да нету же у меня, господи! Ну, ей-богу, нет, вот!

— Почему же у тебя нету?—продолжал допрашивать Андрей Иванович.—Ты денег не пропиваешь, значит, должны быть у тебя; а у кого есть деньги, тот с пустым карманом не уйдет из дому, потому что это неловко.

Картавцов, страдальчески нахмурившись, молчал и с преувеличенным старанием околачивал на книге фальцы.

— Това-а-рищ...—с презрением протянул Андрей Иванович.— Хоть поиздохни все кругом, ему только одна забота,—побольше домой к себе натаскать. Настоящий муравей! Зато, дай, десять лет пройдет, сам хозяином станет, мастерскую откроет... «Григорий Антоныч, будьте милостивы, нельзя ли работки раздобыться у вас?..»

Вошел мастер, Александр Дмитриевич Волков, мужчина с выхоленными светло-русыми усами и остриженный под гребенку. Все взялись за работу. Он спросил:

— Ляхова опять нет? Чорт знает, что такое. Вот суб'ект! Лобшицу в понедельник заказ сдавать, а он тянет. Возьмите, Колосов, вы его работу, псалтыри потом кончите.

В это время вошел Ляхов, с опухшим лицом, пьяный.

— Ну, слава богу, явился, наконец!—сердито сказал мастер.— Вы что же, Ляхов, в мастерскую только для прогулки приходите, для моциону? Когда у вас заказ Лобшица будет готов?

— Когда срок придет, тогда и будет готов!—грубо ответил Ляхов, вытаскивая из шалфатки пачку книг.

— Да вы опять пьяны!—воскликнул мастер.

— Не на ваши ли деньги пил?

Мастер покраснел от гнева и закусил усы.

— Ну-ну, посмотрим! Вам, видно, штрафоваться еще не надоело!.. Прекрасно!

И он быстро вышел в контору.

Андрей Иванович чистил щеточкою выскобленный обрез. Ляхов бросил на верстак книги и большими шагами подошел к нему.

— Ты у меня сейчас будешь лежать под верстаком!—об'явил он.

— Что так? Почему?—спросил Андрей Иванович.

— Ты чего не в свое дело суешься? Зачем ты меня вчера с Катькой поссорил?

Ляхов грозно и выжидающе в упор глядел на Андрея Ивановича.

— Я тебя поссорил?—удивился Андрей Иванович.

Вдруг Ляхов со всего размаху ударил Андрея Ивановича кулаком в лицо.

Удар пришелся прямо в нос. В голове у Андрея Ивановича зазвенело, из глаз брызнули слезы; он отшатнулся и стиснул ладонями лицо. Сильные руки схватили его за борты пиджака и швырнули на пол. Ляхов бросился на упавшего Андрея Ивановича и стал бить его по щекам.

Ошеломленный неожиданностью и болью, не в силах подняться, Андрей Иванович беспомощно протягивал руки и пытался защититься. В глазах у него замутилось. Как в тумане, мелькнуло перед ним широкое лицо Картавцова, от его удара голова Ляхова качнулась в сторону. Андрей Иванович видел еще, как Ляхов бешено ринулся на

Картавцова и сцепился с ним, как со всех сторон товарищи-подмастерья бросились на Ляхова...

Когда Андрей Иванович пришел в себя, Ляхова в мастерской уж не было; Генрихсен и мастер брызгали ему в лицо холодною водою, хозяин взволнованно расхаживал по узкому проходу между верстаками и прессами.

Андрей Иванович сидел на табуретке, прижавшись головою к рукаву поддерживавшего его Ермолаева, и рыдал, как женщина.

— Хам этакий, негодяй!—повторял Ермолаев, задыхаясь от негодования.

Картавцов, с блестящими глазами, с широкою ссадиною на левой скуле, стоял, тяжело переводя дыхание.

— Сейчас же на расчет его!—сказал хозяин.—И десять рублей штрафу за буйство!.. Подавайте, Колосов, к мировому, я сам буду свидетелем... Этакий скот! Чорт знает, что такое!.. За что это он вас?

Андрей Иванович, не отвечая, рыдал. Товарищи участливо окружили его и наперерыв старались услужить. Мальчики и чернорабочие с любопытством толпились вокруг, в дверь заглядывали сбежавшие сверху фальцовщицы.

Хозяин сказал:

— Вот что, Колосов, поезжайте лучше домой, успокойтесь. Стоит обижаться на этого пьяного зверя! Даю вам слово, завтра же его не будет у меня в мастерской.

Ермолаев отвез Андрея Ивановича домой на извозчике.

X

Андрей Иванович пролежал больной с неделю. Ему заложило грудь, в левом боку появились боли; при кашле стала выделяться кровь. День шел за днем, а Андрей Иванович все не мог освоиться с тем, что произошло: его, Андрея Ивановича, при всей мастерской отхлестали по щекам, как мальчишку,—и кто совершил это? Его давнишний друг, товарищ! И этот друг знал, что он болен и не в силах

защититься! Андрей Иванович был готов биться головою об стену от ярости и негодования на Ляхова.

Но рядом с этим ему довелось пережить теперь немало и очень сладких минут. Случай с Андреем Ивановичем вызвал в мастерской всеобщее горячее участие к нему. Хозяин прислал ему на лечение из больничной кассы двадцать пять рублей, товарищи все поголовно перебывали у Андрея Ивановича, приносили ему коньяку, апельсинов, ругали Ляхова и желали Андрею Ивановичу поскорей поправиться. Андрея Ивановича,—отзывчивого, действительно готового для товарищей на все,—невыразимо трогало малейшее проявление товарищеского чувства к нему; в простом слове участия к его горю он был готов видеть торжество какого-то широкого братства. По уходе гостя он долго лежал, задумавшись, с застывшею на лице светлою улыбкою, счастливый и гордый. О Картавцове Андрей Иванович вспоминал не иначе, как с умилением: этого Картавцова он всегда так беспощадно и жестоко преследовал,—а тот, забыв все обиды, первый бросился ему на выручку...

Через неделю Андрей Иванович вышел на работу.

Он вошел в мастерскую, стараясь ни на кого не смотреть, стыдясь того оскорбления, которое он получил. Начатые им псалтыри,—заказ не спешный,—лежали в его верстаке нетронутыми. Андрей Иванович начал вставлять книги в тиски.

— Здравствуй, Колосов!—раздался за его спиною голос.

Андрей Иванович вздрогнул, как от удара кнутом, и быстро обернулся. Перед ним стоял Ляхов, заискивающе улыбался и протягивал руку. Ляхов был в своей рабочей блузе, в левой руке держал скребок. Андрей Иванович, бледный, неподвижно смотрел на Ляхова: он был здесь, он попрежнему работал в мастерской! Андрей Иванович повернулся к нему спиной и медленно пошел в контору.

Хозяин был в конторе. Увидав Андрея Ивановича, он смутился.

— А-а, Колосов, здравствуйте!—ласково произнес он.—Ну, как вы себя чувствуете?

Андрей Иванович, тяжело дыша, глядел на хозяина.

— Ляхов остается у вас?—с трудом сказал он.

— Нет!—решительно ответил Семидалов.—Я ему сказал, что оставлю его лишь в том случае, если вы его простите. Откровенно говоря, лишиться мне его теперь очень невыгодно: вы знаете, какой он хороший золотообрезчик, а Пасха на носу, заказов много... Но, во всяком случае, все дело совершенно зависит от вас.

— *Я его не прощаю!*—раздельно произнес Андрей Иванович.

Семидалов недовольно пожал плечами.

— Ваше дело!.. Правду говоря, мне немного странно, что вы относитесь так к вашему старинному товарищу; вы должны бы знать, что у него, действительно, были большие неприятности; невеста его бросила, он все время пьяный валяется по углам,—со стороны смотреть жалко; притом он сам себе теперь не может простить, что так оскорбил вас. Все это не мешало бы принять в расчет.

— Вам тоже не мешало бы принять в расчет, что он завтра же может опять избить меня в вашей мастерской. А я, Виктор Николаевич, человек больной.

— Ну, знаете, если об этом говорить, то ведь, в конце концов, он может вас избить и на улице, и у вас на квартире.—Семидалов старался не встретиться с упорным, пристальным взглядом Андрея Ивановича.

— На улице против этого есть полиция, в квартире это будет мое дело... Ну, да все равно! Позвольте мне на расчет!—сорвавшимся голосом произнес Андрей Иванович.

— Что вы, что вы, Колосов? Полноте! Я от своего слова никогда не отказываюсь. Я вам дал его и сдержу. Если вы мне заявите, что не хотите работать с Ляховым... А-а, Вильгельм Адольфович!—прервал он себя и встал, любезно улыбаясь.

В контору вошел издатель детских книг, Лобшиц, постоянный заказчик заведения.

— Вы, Колосов, зайдите ко мне в контору после обеда,—скороговоркой сказал Семидалов.—Мы с вами еще потолкуем, как следует.

Подмастерья и фальцовщицы расходились обедать. Андрей Иванович спустился на улицу. Прошел Гребецкую, повернул налево и вышел к Ждановке. Был яркий солнечный день, в воздухе чуялась

весна; за речкой, в деревьях Петровского парка, кричали галки, рыхлый снег был усыпан сучками; с крыш капало.

Андрей Иванович, присев на низкие деревянные перила набережной, неподвижно смотрел в даль... Ляхова хозяин не прогонит,— это Андрей Иванович понял сразу; и его первым решением было— сейчас же уйти самому; теперь новая, мучительная мысль пришла ему в голову: *да ведь его уход для хозяина вовсе не страшен*, напротив, хозяин будет очень рад избавиться от него!.. Андрей Иванович вспомнил, как недовольно морщился Семидалов, когда он просил у него вперед денег или пропускал по болезни несколько дней; еще две недели назад, когда Андрей Иванович попросил уволиться на полдня, чтоб сходить к доктору, хозяин с пренебрежительной усмешкой ответил: «Можете хоть совсем уволиться!..» Очень он накажет Семидалова своим уходом! Его и так держат из милости... Где же ему тягаться с Ляховым, у которого дело так и кипит в руках?

И главное,—Андрей Иванович видел, что ему некуда уйти от Семидалова. Кто возьмет его такого,—больного и слабого? Придется умереть с голоду. Само по себе это бы еще не испугало Андрея Ивановича. Но как только он представил себе, в каком он тогда положении окажется дома, Андрей Иванович почувствовал, что уйти ему от Семидалова невозможно; без работы, даже без надежды получить ее, как сможет он укрощать Александру Михайловну? Тогда придется работать *ей*, а он... он будет жить на ее содержании? Нет, лучше что угодно, только не это!

К трем часам Андрей Иванович воротился в мастерскую. Хозяин, видимо, поджидал его и сейчас же велел позвать к себе. Андрей Иванович, с накипавшими рыданиями обиды и злобы, вошел в контору.

Семидалов торжественно произнес:

— Ну, Колосов, решайте, оставаться у меня Ляхову или нет! Я сейчас узнал от него, что он помирился со своей невестой и после пасхи женится. Неужели даже ради этой радости вы не согласитесь его простить?

Дверь открылась, и вошел Ляхов. Опустив глаза, он медленно сделал два шага к Андрею Ивановичу и тихо сказал:

— Можете ли вы меня, Колосов, простить?

Андрей Иванович, тяжело дыша, растерянно оглядывал Ляхова.

— Могу ли я... простить?

Ляхов стоял, смиренно опустив голову. Но Андрей Иванович видел, как насмешливо дрогнули его брови,—видел, что Ляхов в душе хохочет над ним и прекрасно сознает свою полнейшую безопасность. Судорога сдавила Андрею Ивановичу горло. Он несколько раз пытался заговорить, но не мог.

— Помнишь, Вася,—наконец сказал он,—помнишь, восемь лет назад мы с тобой однажды поссорились? После этого мы обещались, что всегда будем уступать тому, кто из нас пьянее... и никогда не тронем друг друга пальцем. Я это обещание... сдержал...

Андрей Иванович замолчал и отвернулся, судорожно всхлипывая.

— Какое зверство!—продолжал он, весь дрожа от рыданий.— Ты, сильный, крепкий,—ты решился бить своего больного товарища... За что?..

Ляхов быстро заморгал глазами и потянул в себя носом.

— Ну, Андрей... прости!—Его голос дрогнул, и губы жалко запрыгали.

Андрей Иванович услышал, как дрогнул голос Ляхова. Счастливый жар обдал сердце. Но вдруг он вспомнил, что ведь *он должен* простить Ляхова, что ему другого выбора нет... Андрей Иванович стиснул зубы.

— Ну, что же, Колосов, прощаете вы своего товарища?—спросил Семидалов.—Он вас жестоко обидел, но вы видите, как он раскаивается... Миритесь, миритесь, господа!—с улыбкой сказал он и подошел к ним.—Ну, пожмите друг другу руки в знак примирения!

Он соединил руки Андрея Ивановича и Ляхова. Они обменялись рукопожатиями. Хозяин весело воскликнул:

— Вот и прекрасно! За те дни, которые вы пролежали по вине Ляхова, вы получите из его заработка... Желаю вам всегда жить в дружбе. Вот Ляхов скоро женится на своей Кате,—вы у него будете на свадьбе шафером.

— Женатые шаферами не бывают!—ответил Андрей Иванович, с ненавистью оглядел Семидалова и вышел из конторы.

XI

Для Андрея Ивановича начались ужасные дни. «Ты—нищий, тебя держат из милости, и ты должен все терпеть»,—эта мысль грызла его днем и ночью. Его могут бить, могут обижать,—Семидалов за него не заступится; спасибо уж и на том, что позволяет оставаться в мастерской; Семидалов понимает так же хорошо, как и он сам, что уйти ему некуда.

И Андрей Иванович продолжал ходить в мастерскую, где бок-о-бок с ним работал его ненаказанный обидчик. Все шло совсем по-обычному. Товарищи попрежнему здоровались, разговаривали и пили с Ляховым, и никто даже не вспоминал о той страшной обиде, которую ни за что, ни про что нанес Ляхов их больному товарищу. Андрей Иванович стал молчалив и сосредоточен; за весь день работы он иногда не перекидывался ни с кем ни словом. Ляхов пытался с ним заговаривать, всячески ухаживал за ним, но Андрей Иванович не удостоивал его даже взгляда.

Он мог бы простить Ляхова,—о, он простил бы его с радостью, горячо и искренно,—но только, если бы это было результатом его свободного выбора. Теперь же само желание Ляхова получить прощение смахивало на милостыню, которую он по доброй воле давал обиженному Андрею Ивановичу. А для Андрея Ивановича ничего не могло быть ужаснее милостыни.

Здоровье его после побоев Ляхова не поправлялось. С каждым днем ему становилось хуже; по ночам Андрей Иванович лихорадил и потел липким потом; он с тоскою ложился спать, потому что в постели он кашлял, не переставая, всю ночь,—до рвоты, до крови; сна совсем не было. Во время работы стали появляться мучительные боли в груди и левом боку; поработав с час, Андрей Иванович выходил в коридор, ложился на пол, подложив под себя папку, и лежал десять-пятнадцать минут; отдышавшись, снова шел к верстаку. И часто он с отчаянием думал о том, что его «хроническое воспаление легких», повидимому, переходит в чахотку.

Вырабатывал теперь Андрей Иванович страшно мало. Даже не пропустив за неделю ни одного дня,—а это бывало редко,—он при-

носил в субботу домой не более четырех-пяти рублей. Настоящая нужда была теперь дома, и Александре Михайловне не нужно было притворяться, что нельзя достать в долг,—в долг, им, правда, перестали верить. Платить за комнату десять рублей было теперь не по средствам; они наняли за пять рублей на конце Малой Разночинной крошечную комнату в подвальном этаже; в двух больших комнатах подвала жило пятнадцать ломовых извозчиков. Воздух был промозглый, сырой, в углах стояла плесень, капитальная стена была склизка и холодна на ощупь. Зина худела и жаловалась на ломоту в ногах, Андрей Иванович стал кашлять еще больше. И все-таки он не позволял Александре Михайловне искать работы.

Жизнь Александры Михайловны и Зины обратилась в беспросветный ад. Они не знали, как стать, как сесть, чтоб не рассердить Андрея Ивановича. Александра Михайловна постоянно была в синяках, Андрей Иванович бил ее всем, что попадалось под руку; в самом ее невинном замечании он видел замаскированный упрек себе, что он не может их содержать. Мысль об этом заставляла Андрея Ивановича страдать безмерно. Но у него еще была одна надежда и он держался за нее, как утопающий за обломок доски.

У Александры Михайловны был троюродный брат по матери, очень богатый водочный заводчик Тагер; он знал ее ребенком. Года три назад Александра Михайловна решилась сделать ему родственный визит и напомнить о себе. Тагер признал ее и принял очень ласково, расспрашивал о муже, о семье, и на прощание просил ее в случае нужды обращаться к нему. Год назад Андрей Иванович начал кашлять, доктор советовал ему переменить занятие. Андрей Иванович вспомнил о Тагере и через Александру Михайловну попросил у него места. Тагер дал Александре Михайловне карточку к своему приятелю, владельцу многочисленных винных складов в Петербурге. Тот предложил Андрею Ивановичу место в пятьдесят рублей, но в разговоре назвал его «ты». Андрей Иванович вспыхнул.

— Вы, кажется, на вид как-будто благородный человек, черный сюртук носите,—сказал он.—К чему же эта серая мужицкая повадка—«ты» людям говорить? Вы не в деревне, а в Петербурге.

Разумеется, дело расстроилось. Теперь Андрей Иванович снова послал Александру Михайловну к Тагеру. На этот раз Тагер встретил ее очень холодно и об'явил, что, к сожалению, «соответственного» места не имеет для ее мужа. Через неделю Андрей Иванович послал Александру Михайловну снова. Тагер принял ее в передней, не протягивая руки, и сказал, что будет иметь ее мужа в виду, и, если что навернется подходящее, известит ее. Александра Михайловна рассказала Андрею Ивановичу, как ее принял Тагер. Андрей Иванович выслушал, закусив губы от негодования и ненависти... и через три дня снова послал ее к Тагеру.

— Андрюша, да пойми же, ну, как же я пойду?—со слезами стала возражать Александра Михайловна.—Он даже разговаривать со мною не хочет!

— Должна же ты для мужа хоть немножко постараться,—сердито сказал Андрей Иванович.—Попроси его хорошенько.

— Так ты бы сам лучше пошел.

— Чего я сам пойду? Это твое дело. Он родственник тебе, а не мне.

Он таки заставил ее пойти. У Тагера лакей впустил Александру Михайловну в переднюю, пошел с докладом и, воротившись, об'явил что барина нет дома.

Андрей Иванович, в ожидании Александры Михайловны, угрюмо лежал на кровати. Он уж и сам теперь не надеялся на успех. Был хмурый мартовский день, в комнате стоял полумрак; по низкому небу непрерывно двигались мутные тени, и трудно было определить, тучи ли это или дым. Сырой, тяжелый туман, казалось, полз в комнату сквозь запертое наглухо окно, сквозь стены, отовсюду. Он давил грудь и мешал дышать. Было тоскливо.

Андрей Иванович отвернулся к стене и попробовал заснуть. Но сон не приходил; и при закрытых глазах сумрак давил душу, наполнял ее тоской и раздражением. Андрей Иванович лежал неподвижно пять минут, десять. Вдруг где-то очень далеко раздался звонкий, смеющийся голос Зины. Она весело кричала: «Караул!..»

Где она кричит?.. Андрей Иванович продолжал неподвижно лежать и старался заснуть. Но этот голос, так неподходяще-весело

звучавший среди тоски и тьмы, раздражал Андрея Ивановича; ему казалось, он именно из-за него не может заснуть.

— Караул! Караул!—задорно и весело неслись издалека крики, как-будто отражаемые какими-то сводами.

Андрей Иванович порывисто встал, сунул босые ноги в калоши, накинул пальто и пошел на голос. Зина и кухаркина дочь Полька сидели в сенях, запрятавшись за старые оконные рамы, держали перед ртами ладони и кричали: «Караул!» Каменные своды подвала гулко отражали крики.

— Что это ты тут делаешь? Вылезай-ка!—отрывисто сказал Андрей Иванович.

Зина, испачканная пылью и паутиной, торопливо вылезла из-за рамы.

— Почему ты кричала «караул»?

— Я нарочно!—ответила Зина побелевшими губами.

Андрей Иванович широко раскрыл глаза.

— Как это так—нарочно? Ты не знаешь, когда люди кричат «караул»?

Он притащил Зину в комнату и жестоко оттрепал.

— Сидеть на стуле и молчать!—яростно крикнул он.—Чтоб я твоего голоса больше не слышал!

Зина, сдерживая всхлипывания, взобралась на стул и замерла. Гнев несколько облегчил Андрея Ивановича. Он снова лег на кровать, принял морфия и задремал.

Андрей Иванович спал около часу. Проснувшись, он вдруг почувствовал, что у него на душе стало хорошо и весело; и все кругом выглядело почему-то веселее и привлекательнее; Андрей Иванович не сразу сообразил, отчего это.

Зина радостно кричала на кухне.

— Солнышко! Солнышко!

За время сна Андрея Ивановича небо очистилось, и яркие лучи лились в окна. Канфорка самовара и медная ручка печной дверцы играли жаром, кусок занавеси у постели просвечивал своими алыми розами, в столбе света носились золотые пылинки; чахлые листья герани на окне налились ярко-зеленым светом.

Зина, в своих расползшихся башмачонках, стояла в кухне перед окном и заливалась смехом.

— Ах, как жить на свете хорошо, когда солнышко светит!— повторяла она, жмурилась и хлопала в ладоши.

Андрей Иванович смотрел на Зину через открытую дверь; он смотрел на ее отрепанное платье и распадавшиеся башмаки, на бледное, прозрачно-восковое лицо; и думал о том, что у нее тоже есть своя маленькая самостоятельная жизнь, свои радости и горести, независимые от его горя.

Александра Михайловна воротилась от Тагера.

— Ну, что?—рассеянно спросил Андрей Иванович.

— Не принял меня.

Андрей Иванович помолчал.

— Чорт с ним! От'елся, брюхо отпустил себе, где же тут еще о людях думать!.. Знаешь, Шурочка,—поколебавшись, прибавил он:—пока что... Место подходящее не сразу найдешь... Придется и тебе тоже работы какой поискать себе.

Александра Михайловна просияла.

— Да как же иначе? Господи! О чем же я все время говорила тебе? Разве так можно жить? Все равно, что нищие стали. Где ж тебе теперь одному управиться!

— Ах, оставь, пожалуйста!—раздраженно ответил Андрей Иванович.—Я превосходно могу управиться! Дай, подлечусь, либо подходящее место получу, тогда твоя помощь будет совершенно излишняя. А что, действительно, сейчас я мало зарабатываю... Вон у Зины башмаков нету, даже на двор выйти не может,—ты бы вот на башмаки ей и заработала. Нужно и тебе немножко потрудиться, не все же на готовый счет жить.

Они долго обсуждали, чем заняться Александре Михайловне. Выбор был небогатый,—Александра Михайловна толком ничего не умела делать; на языке ее несколько раз вертелся упрек, что вот теперь бы и пригодилось, если бы Андрей Иванович во-время позволил ей учиться; но высказать упрек она не осмелилась. Решили, что Александра Михайловна поступит пачечницей на ту же фабрику, где работала Елизавета Алексеевна.

XII

В мастерской жизнь шла обычным ходом. Ляхов был повсегдашнему неизменно весел; и хозяин, и товарищи относились к нему хорошо; никто не поминал об его безобразном поступке с Андреем Ивановичем, мало кто даже помнил об этом. Но, чем больше забывали другие, тем крепче помнил Андрей Иванович.

Склонившись над верстаком, он угрюмо слушал болтовню и шутки товарищей с Ляховым. Прошло всего три недели, как в этой самой мастерской Ляхов зверски избил его,—и они уже забыли, как сами возмущались этим, забыли все... Самих их ведь никто не даст в обиду,— они хорошие работники; а требовать, чтобы была обеспечена безопасность Андрея Ивановича,—с какой стати? За это, пожалуй, можно еще поплатиться!

Теперь Андрей Иванович с презрением и насмешкою вспоминал о том светлом чувстве, какое в нем раньше возбуждала мысль о товариществе. Он смотрел в окно, как по туманному небу тянулся дым из фабричных труб, и думал: везде кругом—заводы, фабрики, мастерские без числа, в них работают десятки тысяч людей; и все эти люди живут лишь одною мыслью, одною целью,—побольше заработать себе, и нет им заботы до всех, кто кругом; робкие и алчные, неспособные ни на какое смелое дело, они вот так же, как сейчас вокруг него, будут шутить и смеяться, не желая замечать творящихся вокруг обид и несправедливостей. И всегда так будет.

И ему вдруг пришла в голову мысль: он, Андрей Иванович, болеет, товарищи видят, как он мало зарабатывает, и, однако, ни разу не сделали ему подписки. Эти жалкие люди даже на такую мелочь неспособны по собственному побуждению. Андрей Иванович хорошо знал, как обыкновенно производятся подобные подписки: когда он, бывало, подходил с подписным листом, на котором сам первый вписывал рубль, то лишь двое-трое подписывались охотно, остальные же мялись и подписывались только под влиянием упреков и насмешек Андрея Ивановича. А теперь все они очень рады, что некому их заставить. Не пойдет же Андрей Иванович с подписным листом для себя!.. И он с ненавистью слушал басистый, глупый

хохот Ермолаева на шутку Ляхова и вспоминал, что этому самому Ермолаеву, когда он в прошлом году лежал в больнице с воспалением легких, он, Андрей Иванович, собрал по подписке двенадцать рублей.

Это разочарование в товарищах мучило Андрея Ивановича еще больше, чем бессильная ненависть к Ляхову, счастливому, здоровому и сильному. Да и в Ляхове он ненавидел теперь не его самого: в нем для Андрея Ивановича сосредоточилось все товарищество, в которое Андрей Иванович верил, которому был готов служить и которое так жестоко обмануло его.

Ляхов продолжал усиленно ухаживать за Андреем Ивановичем. Но Андрей Иванович упорно и резко отталкивал все его подходы. Ляхов попробовал действовать через Катерину Андреевну. Она пришла в воскресенье к Колосовым, сияющая, счастливая, и пригласила их на свое обручение.

— Вы все-таки выходите за Ляхова?—спросила Александра Михайловна.

— Да.

— А как же тот, черненький?—вполголоса осведомилась Александра Михайловна.

Катерина Андреевна поморщилась и повела плечами.

— Ну, его,—скучный он! Вася лучше... Так вы уж, Андрей Иванович, не откажите нам, приходите в воскресенье. Вася вас так просит!

— Пускай ждет! Только, право, не знаю, дождется ли!

Андрей Иванович сумрачно усмехнулся.

Катерина Андреевна помолчала.

— Простили бы вы его, Андрей Иванович! Ну что сердиться! Можно ли с пьяного человека взыскивать? Он так жалеет, что оскорбил вас!! Все, говорит, готов сделать, чтоб опять получить дружбу Андрея Ивановича. Право, помирились бы!

— Я не женщина, Катерина Андреевна!—сурово ответил Андрей Иванович.—Вас вот можно как угодно оскорбить, а потом приласкай вас,—вы и забудете все. А я не могу простить, когда попирают мои права, потому что я не раб, не невольник! Он этого никогда не дождется, так и передайте ему, негодяю!

В следующую субботу, после получки, Андрей Иванович зашел в «Сербию» выпить рюмку коньяку. В отрепанном пальто, исхудалый, с частым, хрипящим дыханием, он медленно подошел к буфету, не глядя по сторонам. Как раз возле буфета сидели за столиком Ляхов, Ермолаев и еще трое подмастерьев.

— Андрей Иванович, садись к нам,—сказал Генрихсен. —Что так одному-то пить.

Андрей Иванович угрюмо буркнул:

— Мне к спеху!

— Горд стал Колосов!—заметил Ермолаев.—Гнушается своими товарищами.

Андрей Иванович оглядел его с ног до головы.

— Горд? О, нет, ты ошибаешься, я вовсе не горд...

Ляхов вдруг быстро встал и подошел к нему.

— Андрей! Ну, будет!.. Ради бога!—умоляюще произнес он протягивая об'ятья.—Ну, прости меня! Я перед всеми товарищами прошу тебя: прости!

— Тебе и без моего прощения хорошо живется,—с ненавистью ответил Андрей Иванович.

— Ну, ради бога! Андрюша!.. Тебе моя палка нравилась, позволь мне ее подарить тебе в знак примирения! Из черного дерева палка, семь рублей заплачена... На! Прошу тебя, прими!

Андрей Иванович хотел повернуться и уйти, но вдруг остановился.

— Хорошо, я принимаю!—неожиданно сказал он и взял палку.—Но помни, Васька!—Задыхаясь, он постучал концом палки по столу.—Помни: когда я напьюсь так же, как ты в тот день, я всю эту палку обломаю о твою голову!

В голосе и в лице Андрея Ивановича было что-то до того страшное, что Ляхов побледнел; в его выпуклых глазах мелькнул испуг. Андрей Иванович, тяжело опираясь на палку, вышел из трактира.

На темной улице было пустынно и тихо. Чуть таяло. Андрей Иванович задумчиво шел. Он хорошо заметил, как Ляхов испугался его угрозы. И ему было странно, как это ему до сих пор не пришла в голову мысль о таком исходе. Конечно, он так и посту-

пит: напьется, придет в мастерскую и на глазах у всех изобьет Ляхова до полусмерти; когда же хозяин вознегодует, то Андрей Иванович удивленно ответит ему: «Ведь у вас в мастерской драться позволяется!»

С этой поры мысль о предстоящей отплате заполнила всю душу Андрея Ивановича; он с наслаждением стал лелеять и обдумывать эту мысль, радуясь и недоумевая, как он не пришел к ней раньше.

Александра Михайловна, получив от Андрея Ивановича разрешение работать, ревностно взялась за новое, непривычное дело. По природе она была довольно ленива; но в доме была такая нужда, что Александра Михайловна для лишней копейки согласилась бы на какую угодно работу.

Попасть на фабрику ей не удалось, и она брала работу из фабрики на дом. В этом было много неудобного: пачечницы, работавшие на самой фабрике, могли все время отдавать работе,—между тем у Александры Михайловны много времени шло даром на ходьбу за материалом, носку и выгрузку товара и т. п. Кроме того, приходилось тратиться на освещение. Но самое невыгодное было то, что, несмотря на все это, работавшие на дому получали меньше, чем работавшие на фабрике: вторым платили за тысячу пачек двадцать копеек, первым же только восемнадцать. Причина этого была непонятна, но так делалось во всех фабриках. Притом домашним пачечницам выдавался и клей низшего качества, и бланки, которые хуже клеились. Вообще к ним относились в фабричной конторе так, как-будто они были нищие, приходившие за подаянием.

Работая с пяти часов утра до полуночи, Александра Михайловна могла сготовить три-четыре тысячи пачек. Но редко представлялась возможность наработать столько. Если она приносила за день три тысячи пачек, конторщик сердился: «Что это так скоро? На вас бланков не напасешься! Приходи завтра после обеда!» Иногда бланков не выдавали по два, по три дня. Зато, когда у набивщиков было мало пачек, конторщик начинал торопить Александру Михайловну: «Ты, милая, поскорее работу сготовь, хоть пять тысяч принеси, все приму; уж ночь не поспи, а постарайся, а то дело станет». И Александра Михайловна не спала ночь, готовя пачки к сроку.

Когда подсчитывали недельный заработок, оказывалось, что Александре Михайловне следует получить два, два с полтиной.

Андрей Иванович не мог без раздражения смотреть на ее работу; эта суетливая, лихорадочная работа за такие гроши возмущала его; он требовал, чтоб Александра Михайловна бросила фабрику и искала другой работы, прямо даже запрещал ей работать. Происходили ссоры. Андрей Иванович бил Александру Михайловну, она плакала. Все поиски более выгодной работы не вели ни к чему.

Александра Михайловна вспомнила, что Катерина Андреевна как-то говорила ей, что у них в картонажной мастерской зарабатывают полтора рубля в день. Она тайком от Андрея Ивановича пошла к Катерине Андреевне. Катерина Андреевна сильно смутилась и ответила, что сейчас все места у них заняты. Александра Михайловна пошла к ее подруге, которую раза два встречала у Катерины Андреевны. Та расхохоталась и об'яснила Александре Михайловне, что мастерицы вырабатывают у них те же пятьдесят-семьдесят копеек, как и везде, а Катерина Андреевна, действительно, получает полтора рубля; но она их получает от хозяина не только за работу, но и... «за свою красоту»...

XIII

Было Благовещение. Андрей Иванович лежал на кровати, смотрел в потолок и думал о Ляхове. За перегородкою пьяные ломовые извозчики ругались и пели песни. Александра Михайловна сидела под окном у стола; перед нею лежала распущенная пачка коричневых бланков, края их были смазаны клеем. Александра Михайловна брала четырехгранную деревяшку, быстро сгибала и оклеивала на ней бланк и бросала готовую пачку в корзину; по другую сторону стола сидела Зина и тоже клеила.

Андрей Иванович весь кипел раздражением.

— Долго еще эта канитель будет тянуться?—сердито спросил он.—Кажется, сегодня праздник, можно бы и не работать!

Александра Михайловна робко возразила:

— Как же быть, Андрюша? Конторщик велел, чтоб непременно к завтрему было шесть тысяч.

— «Конторщик велел»... Мало ли, что тебе будет приказывать конторщик!.. Брось, пожалуйста, ты ему не раба. Заснуть нельзя!.. «Велел»... А зачем он целых три дня всего по тысячи давал тебе?

— Тут уж не приходится рассуждать.

Андрей Иванович широко раскрыл глаза и поднялся на постели.

— Как это не приходится рассуждать? Ты не животное, а человек, тебе для того и разум дан, чтоб рассуждать. Дура!.. Брось, я тебе говорю!.. Слышишь ты?—грозно крикнул он.

Александра Михайловна покорно отложила работу. Теперь, когда Андрей Иванович много бывал дома, она совершенно подчинилась ему и не смела слова сказать наперекор. Андрей Иванович лежал, злобно нахмурив брови. Александра Михайловна пошла поставить самовар, потом воротилась и, молча сев к столу, стала читать «Петербургскую Газету».

Каждое движение, каждый жест Александры Михайловны возбуждали в Андрее Ивановиче неистовую ненависть. Он сдерживался, чтоб не заорать на нее,—ему было противно, что у Александры Михайловны толстый живот, что она сморкается громко, и что у нее на правом локте заплата.

— Что это ты читаешь?

— Вот тут напечатано: «Мнение женщин о мужчинах».

— К чему это тебе знать, скажи, пожалуйста? Для тебя такое чтение совсем не подходяще, ты и так не умна. Дай сюда газету!

Андрей Иванович вырвал у нее газету и стал читать. Через десять минут газета опустилась к нему на грудь. Он задремал. Но кашель вскоре разбудил его. Андрей Иванович кашлял долго и никак не мог откашляться; на лбу вздулись жилы, в комнате распространился противный, кисловатый запах, которым всегда несет от чахоточных.

— А что ж, самовар у тебя ко второму пришествию поспеет?— спросил Андрей Иванович, перестав, наконец, кашлять.

— Самовар готов. Я тебя только тревожить не хотела, что ты спал.

Александра Михайловна подала самовар. Андрей Иванович, в туфлях и в жилетке,—всклокоченный, угрюмый,—пересел к столу.

— Сходи, купи водки пеперментовой,—отрывисто сказал он.— Выпить охота.

— Андрюша, ведь опять жар у тебя будет, как вчера,—просительно возразила Александра Михайловна.

У Андрей Ивановича загорелись глаза.

— Это ты мне намекаешь, что я на твой счет пью?—спросил он, стиснув зубы.—Дрянь ты паршивая!—закричал он и яростно затопал ногами.—Никогда мне водка не вредит, она мокроту разбивает! Ты мне хочешь сказать, что я от тебя завишу... Не надо мне твоей водки, убирайся к чорту!

— Мне не жалко, Андрюша, я пойду.

— Не нужно мне твоей водки, понимаешь ты?.. Гадина! Ничего от тебя не стану принимать! С голоду подохну, а от тебя корки хлеба не приму!

Он, задыхаясь, пошел к кровати и лег. Александра Михайловна тихонько оделась, ушла и принесла пеперментовой водки.

Андрей Иванович лежал на постели и глядел горящими глазами в потолок. Александра Михайловна сказала:

— Готово, Андрюша. Иди!

— Я тебе сказал, что мне не нужно твоей водки,—с ненавистью ответил Андрей Иванович.—Поняла ты это или нет?

Он быстро встал с постели, оделся и вышел вон.

У него спиралось дыхание от злобы и бешенства: ему, Андрею Ивановичу, как нищему, приходится ждать милости от Александры Михайловны! Захотелось чего,—покланяйся раньше, попроси, а она еще подумает, дать ли. Как же, теперь она зарабатывает деньги, ей и власть, и все... До чего ему пришлось дожить! И до чего вообще он опустился, в какой норе живет, как плохо одет,—настоящий ночлежник! А Ляхов, виновник всего этого, счастлив и весел, и товарищи все счастливы, и никому до него нет дела.

Андрей Иванович остановился на дамбе Тучкова моста. Куда итти? Итти было не к кому... Единственным человеком, в привязанности которого он не сомневался, был чухонец Лестман, но Андрей

Иванович не мог без раздражения думать о нем. Лестман за это время несколько раз проведывал Андрея Ивановича. Придет, сядет—и молчит, и нелепо вздыхает, а уходя, предлагает Андрею Ивановичу взаймы денег. Болван! Очень ему нужны его деньги!.. Вечерело; алые пятна зари на западе тускнели, по набережной в синеватой дымке засветилась цепь огоньков. Андрей Иванович стоял, закусив губы, и мрачно смотрел на огоньки. Вдруг он вспомнил о Барсукове. Не поехать ли к нему? Андрей Иванович пренебрежительно усмехнулся, воротился к раз'езду и сел в проходившую конку.

Барсуков со всеми его взглядами казался теперь Андрею Ивановичу удивительно наивным и неумным. Ехал он к нему вовсе не для того, чтоб отвести душу,—нет, ему хотелось высказать Барсукову в лицо, что он—ребенок и тешится собственными фантазиями, что жизнь жестока и бессмысленна, а люди злы и подлы, и верить ни во что нельзя.

С ироническою улыбкою он мысленно обращался к Барсукову:

«Вы желаете знать, отчего происходит различное электричество, и что такое чувствительная литература? Все это совершенно излишне, и никакой от этого не будет пользы».

Поезд пригородной дороги, колыхаясь, мчался по тракту. Безлюдные по будням улицы кипели пьяною, праздничною жизнью; над трактом стоял гул от песен, криков, ругательств. Здоровенный ломовой извозчик, пьяный, как стелька, хватался руками за чугунную ограду церкви и орал во всю глотку: «Го-о-оо!!. Ку-ку!!. Ку-ку!!.» Необ'ятный голос раскатывался по тракту и отдавался за Невою.

— Ванька, зачем забор ломаешь?—зычно крикнул кто-то с империала.

— Пятиалтынный пропил?—спросил другой.

— Го-го-го-гоо!..—откликнулся ломовик, мощно потрясая ограду.—Ку-ку!!. Ку-ку!!.—снова понеслось над трактом.

По улице, среди экипажей, шагали в ногу трое фабричных, а четвертый шел перед ними задом, размахивал бутылкою и с серьезным лицом командовал: «Левой! Левой! Левой!..» У трактира гудела и колыхалась толпа, мелькали кулаки, кто-то отчаянно кри чал: «Городово-о-ой!.. Городово-о-ой!..».

Барсуков занимал от хозяйки довольно большую комнату вместе с товарищем. Андрей Иванович застал обоих дома,—они сидели за чаем и читали газету. Товарищ Барсукова, Щепотьев, был стройный парень с энергичным, суровым лицом, с насмешливой складкой в углах губ.

Барсуков встретил Андрея Ивановича очень радушно. Он усадил его пить чай и с участием стал расспрашивать о здоровье. Про его историю с Ляховым он слышал от Елизаветы Алексеевны.

— Здоровье ничего, спасибо!—с угрюмой усмешкою ответил Андрей Иванович.—Если до лета доживу, так отслужу благодарственный молебен... За друзей! За товарищество! Да и за хозяина кстати... Как же! Ведь он мне большую милость оказал: меня в его мастерской избили, а он ничего, не рассердился на меня, позволил остаться...

Андрей Иванович просидел у Барсукова часа два. Он высказал все, что собирался высказать. Барсуков стал ему возражать; в спор вмешался и Щепотьев. Щепотьев был умнее и развитее Барсукова, говорил резко и убедительно. Но Андрей Иванович не сдавался; он мало даже слушал возражения, а с упорною, сосредоточенною злобою продолжал доказывать, что все люди подлецы, и все ерунда.

Назад он ехал раздраженный и сердитый. Его собственные доводы убедили его еще сильнее в правильности его теперешних воззрений, и светлый взгляд его собеседников на жизнь и на будущее раздражал его. Как они не понимают, что это ребячество, как могут они находить случай с ним недоказательным!. О, для самого Андрея Ивановича случай был очень доказателен: никому ни до кого нет дела, кроме как до себя... И вдруг мысль, которою Андрей Иванович до сих пор тешился и успокаивал себя, встала перед ним с полной определенностью: конечно, он изобьет Ляхова в мастерской, и он сделает это завтра же!

XIV

Утром Александра Михайловна понесла корзину с готовыми пачками на фабрику. Андрей Иванович выслал Зину в кухню и ножом открыл замок комода; в правом углу ящика, под тряпками, он

отыскал кошелек и из полутора рублей взял восемьдесят копеек; потом Андрей Иванович захватил палку, которую ему подарил Ляхов, и вышел из дому.

Он зашел в «Сербию», сел в угол к столику и спросил коньяку. Андрей Иванович хорошо знал, как он страшен во хмелю, и хотел раньше напиться. В трактире посетителей было мало; стекольщик вставлял стекло в разбитой стеклянной двери, буфетчик сидел у выручки и пил чай.

Андрей Иванович выпил одну рюмку, сейчас же за нею другую, и закусил мятной лепешечкой. В голове слегка зашумело. Он выпил третью рюмку. Лицо бледнело, в голове становилось все туманнее. Глядя горящими глазами в окно, он лихорадочно курил папиросу за папиросой и вспоминал о том испуге, какой охватил Ляхова при его угрозе. Выпил еще две рюмки. Дикое исступление бешенства росло в нем, вздымалось и охватывало душу. В этом было что-то захватывающе-радостное. Горькое сознание беспомощности и одиночества исчезло; Андрей Иванович чувствовал в себе силу, против которой ничто не устоит и которой не нужна ничья помощь.

Он не помнил, как допил бутылку, как прошел улицу. В конторе хозяин разговаривал с двумя заказчиками. Андрей Иванович сорвал с себя в конторе пальто, бросил его на подоконник, и с палкою в руках вошел в мастерскую.

Ляхов сидел у верстака, лицом к окну, и, наклонившись, резал на подушечке золото. Среди ходивших людей, среди двигавшихся машин и дрожащих передаточных ремней Андрей Иванович видел только наклоненную вихрастую голову Ляхова и его мускулистый затылок над синею блузою. Сжимая в руке палку, он подбежал к Ляхову.

— Получай должок!—крикнул Андрей Иванович и с размаху ударил Ляхова по голове.

Ляхов втянул голову в плечи, в гневе вскочил и обернулся. Андрей Иванович, с всклокоченной головою, с горящими на исхудалом лице глазами, кинулся на него с палкою. Ляхов побледнел и отшатнулся.

— Карау-у-ул!!—вдруг заорал он на всю мастерскую, еще глубже втянул голову в плечи и бросился бежать.

Тупой, животный ужас охватил его,—ужас, при котором перестают рассуждать. Сталкивая всех локтями с дороги, Ляхов стрелою пробежал длинную мастерскую, выскочил на площадку и помчался по крутой каменной лестнице наверх, в брошюровочное отделение. Андрей Иванович, задыхаясь, бежал за ним.

— Караул!.. Караул!.. — коротко выкрикивал Ляхов на бегу.

Они побежали между верстаками, задевая за пачки листов. Листы дождем сыпались на землю, девушки-фальцовщицы в испуге и удивлении кидались в стороны.

Ляхов влетел в комнату мастера, с ужасом слыша, что Андрей Иванович не отстает. Другого выхода из комнаты не было. Ляхов в отчаянии повернулся и быстро бросился навстречу Андрею Ивановичу. Они столкнулись на пороге, Андрей Иванович полетел навзничь. В том же тупом, нерассуждающем ужасе Ляхов кинулся на него, вцепился рукою в горло и, схватив в кулак валявшийся на полу костяной фальцбейн, стал наносить Андрею Ивановичу удары по голове. С третьего же удара костяшка сломалась, но обезумевший от страха Ляхов ничего не замечал и продолжал наносить удары обломком.

— Это что такое?—раздался громовой голос хозяина.

Ляхов очнулся и поднялся на ноги, бледный и дрожащий. Андрей Иванович сидел, свесив окровавленную голову, ерзал руками по полу и старался вскочить.

— Опять скандалы тут поднимать?!—в бешенстве кричал хозяин.

Ляхов бросил костяшку и, ругаясь, пошел вниз.

— Нет, брат... погоди!—хрипел Андрей Иванович. Он поднялся на ноги и, шатаясь, побежал вслед за Ляховым.

— Удержать его, чего смотрите?—крикнул хозяин брошюрантам.—В участок захотелось тебе, скандалист ты этакий?

Андрей Иванович остановился.

— В участок?!—заревел он и устремился на Семидалова.— Сукин ты сын, эскулап!..

Брошюранты схватили Андрея Ивановича.

Товарищи-подмастерья упросили хозяина не отправлять Андрея Ивановича в участок. Он плюнул и позволил им убрать его, куда угодно.

Андрея Ивановича, пьяного и залитого кровью, свезли домой. Он ругался и старался вырваться от сопровождавших его Ермолаева и Генрихсена. Его привезли и уложили в постель, но Андрей Иванович не унимался.

— Вы меня пустите или нет?—яростно кричал он, сверкая глазами.—Всех вас, мерзавцев, в одной помойной яме надо утопить,—фараоны вы, мазурики, арапы!.. Подать мне сюда Семидалова,—я ему покажу! Това-арищи... Вы рабы, вы невольники против моих мнений... Тьфу-у!!!

Плачущая Александра Михайловна повязала его окровавленную голову полотенцем, но Андрей Иванович тотчас же сорвал повязку. Он бушевал долго; но понемногу стал ослабевать. Наконец, уткнувшись залитым кровью лицом в подушку, примолк и вскоре заснул.

Андрей Иванович проснулся к вечеру. Он хотел подняться и не мог: как-будто его тело стало для него чужим, и он потерял власть над ним. Александра Михайловна, взглянув на Андрея Ивановича, ахнула: его худое, с ввалившимися щеками лицо было теперь толсто и кругло, под глазами вздулись огромные водяные мешки, узкие щели глаз еле виднелись сквозь отекшее лицо; дышал он тяжело и часто.

— Водка пепперментовая осталась у тебя?—хрипло спросил Андрей Иванович.

— Да.

— Дай-ка рюмочку! Да сходи, принеси соленого огурчика.

Андрей Иванович отер мокрым полотенцем лицо, выпил, закусил соленым огурцом и молча повернулся к стене.

Всю ночь Андрей Иванович не спал. Он лежал и думал. Ему вспоминалась, как сквозь туман, схватка с Ляховым, и Андрей Иванович не мог простить себе своей глупости: Ляхов силен, как бык, он одною рукою может справиться с ним; следовало действовать совсем иначе,—просто, подойти к Ляхову и всадить ему в живот шерфовальный нож. Время еще не ушло. Андрей Иванович так и

решил поступить. Вспомнил он безмерный ужас, в каком Ляхов побежал от него,—и сладкая радость наполнила душу. О, не даром Ляхов боится его,—еще будет дело!

Но в теперешнем состоянии Андрей Иванович чувствовал себя ни на что негодным; при малейшем движении начинала кружиться голова, руки и ноги были словно набиты ватой, средце билось в груди так резко, что тяжело было дышать. Не следует спешить; нужно сначала получше взяться за лечение и подправить себя, чтоб итти наверняка.

На утро Андрей Иванович об'явил Александре Михайловне, что он решил лечь в больницу и лечиться, как следует.

XV

Был десятый час утра. Дул холодный, сырой ветер, тающий снег с шорохом падал на землю. Приемный покой N-ской больницы был битком набит больными. Мокрые и иззябшие, они сидели на скамейках, стояли у стен; в большом камине пылал огонь, но было холодно от постоянно отворявшихся дверей. Служители в белых халатах подходили к вновь прибывшим больным и совали им подмышки градусники.

Александра Михайловна ввела под руку Андрея Ивановича; на скамейке у окна только что освободилось место. Андрей Иванович сел, Александра Михайловна осталась стоять. Андрей Иванович был в торжественном и решительном настроении; он был готов на все, чтоб только поправиться; так он и собирался сказать доктору: «Лечите меня, как хотите, что угодно делайте со мной, я все исполню,—только поставьте на ноги!»

Рядом с Андреем Ивановичем сидел бледный, осунувшийся старик в рваном полушубке. Дальше полулежал, облокотившись о ручку скамейки, мальчик лет двенадцати, с лихорадочно горящими, умными и печальными глазами; он был в пеньковых опорках и онучах, замотанных бечевками, в рваной и грязной кацавейке. Возле него стояла женщина средних лет с бойким, чернобровым лицом.

— Твой паренек?—обратился к ней старик.

— Нет, так, из жалости привезла его,—быстро ответила женщина, видимо не любившая молчать.—Иду по пришпехту, вижу,—мальчонка на тумбе сидит и плачет. «Чего ты?» Тряпичник он, третий день болеет; стал хозяину говорить, тот его за волосья оттаскал и выгнал на работу. А где ему работать! Итти сил нету! Сидит и плачет; а на воле-то сиверко, снег идет, совсем закоченел... Что ж ему, пропадать, что ли?

Старик участливо спросил мальчика:

— Давно ли из деревни?

— Второй год,—сипло ответил мальчик.

— Матка, чай, в деревне есть?

— Есть.

Старик вздохнул.

— В другое бы мастерство нужно тебе! В тряпичниках чему хорошему научишься... Платит тебе что хозяин?

— Пятнадцать рублей в год.

Из приемной вынесли на носилках больного с повязанной головой. Служитель крикнул:

— Федор Гаврилов! К доктору!

Женщина засуетилась и пошла с мальчиком в приемную. Наружные двери то-и-дело хлопали. Входили новые больные. Старик чесал под полушубком грудь и вздыхал.

— И малому плохо, и старому плохо,—сказал он, обращаясь к Александре Михайловне.—Не дай бог болеть рабочему человеку!

Александра Михайловна посмотрела на его корявые, трясущиеся руки.

— А ты что работаешь?

— Я-то? Да вот здоров был, дрова пилил в Смольный институт... А теперь какая работа? Нету сил, ослаб. От еды совсем отбило. Два раза в день укушу хлебца, и ладно. Главное дело—ослаб.

Доктор в золотых очках и белом халате, с сердитым лицом, прошел в приемную к телефону.

— Трррр!.. — зазвенел звонок телефона. — Александровская больница?—спросил доктор в телефон.—Коллега, не можете ли вы

принять к себе мальчика двенадцати лет с неопределенною формою тифа? У нас совершенно нет мест.

Доктор замолчал, слушая ответ.

— Пожалуйста, коллега, я вас прошу!—проговорил он раздраженно.—Ребенку решительно некуда деться, приходится выбрасывать на улицу. Может быть, как-нибудь отыщете местечко.

Он замолчал, слушая.

— Трр!.. Трр!..—сердито зазвякал телефон, требуя раз'единения. Доктор воротился в приемную. Через минуту из нее вышла женщина с мальчиком. Она кричала:

— Куда я его дену? Извините, пожалуйста, таких правилов нету! Болен человек,—вы его обязаны принять.

— Ты, матушка, не шуми!—строго сказал служитель.

— Как же мне не шуметь, когда вы сурьезно поступаете! Куда я с ним теперь? И так последний двугривенный на извозчика отдала.

— В другую больницу обратись.

— Ну, уж спасибо! Есть мне время! Делайте с ним, что хотите!

И она быстро направилась к дверям. Служители бросились за нею и удержали.

— Нет, матушка, погоди!.. Бери-ка мальчишку!

Женщина плакала, ругалась, грозила градоначальником, но в конце концов пришлось смириться. Мальчик стоял и безучастно глядел на бушевавшую за окнами мокрую вьюгу.

— У-у, постылый! Связалась на свою погибель!

Женщина сердито взяла его за руку и вышла вон.

Старик, сосед Андрея Ивановича, тоже воротился из приемной. Он растерянно подошел к месту, где лежал его полушубок.

— Н-не знаю...—произнес он и замолчал.

Андрей Иванович мрачно спросил:

— Не приняли?

— Говорит: можешь на прием ходить. А то в другую больницу ступай... Уж не знаю...

— «В другую больницу»!—резко проговорил исхудалый водопроводчик с темным, желтушным лицом.—Вчера вот этак посадили

нас в Барачной больнице в карету, билетики дали, честь-честью, повезли в Обуховскую. А там и глядеть не стали: вылезай из кареты, ступай, куда хочешь! Нету местов!.. На Троицкий мост вон большие миллионы находят денег, а рабочий человек издыхай на улице, как собака! На больницы денег нет у них!

Старик задумчиво стоял, поводил головою и вопросительно глядел на свой полушубок.

— Главное дело—ослаб, сил нетути. С квартиры гонют.

Он вздохнул, надел полушубок и вышел вон.

А новые больные все прибывали. Заразных сортировали и давали им отказные билетики в соответственные больницы, очень тяжелых, умиравших принимали, а всем остальным отказывали.

Позвали, наконец, Андрея Ивановича. Доктор, с усталым и раздраженным лицом, измученный бессмысленностью своей работы, выстукал его, выслушал и взялся за пульс. Андрей Иванович смотрел на доктора, готовый к бою: он заставит себя принять,—он не женщина и не мужик, и знает свои права. Больничный сбор взыскивают каждый год, а болен стал,—лечись, где хочешь?

Доктор долго щупал пульс Андрея Ивановича и в колебании глядел в окно. Пульс был очень малый и частый. Такие больные с водянкою опасны: откажешь, а он, не доехав до дому, умрет на извозчике; газеты поднимут шум, и могут выйти неприятности. Больница была переполнена, кровати стояли даже в коридорах, но волей-неволей приходилось принять Андрея Ивановича. Доктор написал листок, и Андрея Ивановича вывели.

— Не приняли?—упавшим голосом спросила Александра Михайловна.

Андрей Иванович с гордостью ответил:

— Приняли!

Окружавшие с завистью покосились на него.

Андрея Ивановича отвели в ванную, а оттуда в палату. Большая палата была густо заставлена кроватями, и на всех лежали больные. Только одна, на которой ночью умер больной, была свободна; на нее и положили Андрея Ивановича. Сестра милосердия, в белом халате и белой косынке, поставила ему подмышку градусник.

Вскоре пришел на визитацию палатный доктор. Он вторично выстукал и выслушал Андрея Ивановича, велел оставить его мокроту для микроскопического исследования и назначил лечение. По уходе доктора Андрей Иванович внимательно прочел свой скорбный лист.

Вечером Андрею Ивановичу сделали ванну, и он почувствовал себя немного лучше. Тяжелые больные легковерны: незначительное улучшение в своем состоянии они готовы считать за начало выздоровления; Андрей Иванович решил, что недели через две-три поправится, и горько пожалел, что не лег в больницу раньше.

Ночь Андрей Иванович провел без сна и опять думал о Ляхове. Ляхов, конечно, очень скоро узнает, что Андрея Ивановича свезли в больницу. То-то он обрадуется, то-то спокойно вздохнет! Дескать, попал в больницу, так уж не воротится. Только так ли это?.. После пасхи Андрей Иванович выпишется из больницы здоровым и крепким; он войдет в мастерскую, подойдет к Ляхову: «Здравствуй, товарищ»!.. Ляхов, услыша его голос, вскочит с тем же тупым ужасом, как и тогда, но уж бежать ему не придется: одним взмахом Андрей Иванович всадит ему в живот шерфовальный нож... Стиснув зубы, он делал под одеялом быстрое, короткое движение сжатым кулаком и представлял себе в кулаке острый, блестящий шерфовальный нож.

В палате, битком набитой больными, было душно, и стояла тяжелая вонь от газов, выделявшихся у спавших. Дежурная сиделка дремала у окна. Дряхлый старик-лакей с отеком легких стонал грубыми, протяжными стонами, ночники тускло светились, все глядело мрачно и уныло. Но на душе у Андрея Ивановича было радостно.

XVI

Назавтра после визитации доктора Андрей Иванович взял свой скорбный лист, чтобы посмотреть, что в него вписал доктор. Он прочел и побледнел; прочел второй раз, третий... В листке стояло: «Притупление тона и бронхиальное дыхание в верхней доле левого легкого; в обоих легких масса звучных влажных хрипов; в мокроте коховские палочки».

Андрей Иванович сразу страшно ослабел; изнутри головы что-то со звоном подступило к глазам и ушам; он опустил листок и закрыл глаза. «Коховские палочки»... Андрей Иванович прекрасно знал, что такое коховские палочки: это значит, что у него—чахотка; значит, спасения нет, и впереди смерть.

Принесли обед. Сиделка поставила Андрею Ивановичу миску с молочным супом.

— Обед принесен, эй!—сказала она и тронула его за рукав.

Андрей Иванович нетерпеливо повел головою и продолжал лежать, закрыв глаза. Коховские палочки... Всего два часа назад Андрей Иванович чувствовал себя в водовороте жизни, собирался бороться, мстить, радоваться победе... И вдруг все оборвалось и ушло куда-то далеко, а перед глазами было одно—смерть беспощадная и неотвратимая.

В два часа пришла на свидание Александра Михайловна. Андрей Иванович равнодушно об'явил ей, что у него чахотка, и он скоро умрет. Александра Михайловна широко раскрыла глаза и быстро спросила:

— Как? Что? Доктор сказал?

Андрей Иванович усмехнулся.

— Что доктор! Я сам знаю!.. У меня коховские палочки нашли,—червячков таких, от которых бывает чахотка.

Александра Михайловна заплакала. Андрей Иванович смотрел на нее, и ему стало жалко себя, и в то же время почему-то вспомнилось равнодушное, усталое лицо палатного доктора и тот равнодушный вид, с каким он записывал в листок его смертный приговор.

С каждым днем Андрей Иванович чувствовал себя хуже. Он стал очень молчалив и мрачен. На расспросы Александры Михайловны о здоровье Андрей Иванович отвечал неохотно и спешил перевести разговор на другое. То, что ему рассказывала Александра Михайловна, он слушал с плохо скрываемою скукою и раздражением. И часто Александра Михайловна замечала в его глазах тот угрюмый,

злобный огонек, который появлялся у него в последние недели при упоминании о Ляхове.

Между тем к Ляхову Андрей Иванович относился теперь без прежней злобы. Когда Ермолаев пришел его проведать и сообщил, что Ляхов просит позволения посетить его, Андрей Иванович только пожал брезгливо плечами и ответил, что, если хочет, пусть приходит. Ляхов пришел раз и после этого стал ходить каждое воскресенье. Приходил он всегда с кем-нибудь из товарищей, держался назади, сконфуженно теребил в руках шапку. Андрей Иванович, неестественно улыбаясь, разговаривал с ним, и обоим было неловко.

Не мысль об истории с Ляховым мучила Андрея Ивановича. Вся эта история казалась ему теперь бесконечно мелкою и пошлою, мстить он больше не хотел, и Ляхов возбуждал в нем только гадливое чувство. Андрей Иванович страдал гораздо сильнее прежнего, но страдал совсем от другого,—от нахлынувших на него трезвых дум.

О, эти трезвые думы!.. Андрей Иванович всегда боялся их. Холодные, цепкие и беспощадные, они захватывали его и тащили в темные закоулки, из которых не было выхода. Думать Андрей Иванович любил только во хмелю. Тогда мысли текли легко и плавно, все вокруг казалось простым, радостным и понятным. Но теперь дум нельзя было утопить ни в вине, ни в работе; а между тем эта смерть, так глупо и неожиданно представшая перед Андреем Ивановичем, поставила в нем все вверх дном.

И думы ползли одна за другою, злые и безотрадные, и Андрей Иванович не мог их отогнать... Прожил он сорок лет и все бессознательно ждал чего-то. Эта чадная, тошнотная жизнь не могла тянуться вечно. Он ждал,—вот явится что-то, что высоко поднимет его над этою жизнью, придет большое счастье, в котором будет кипучая жизнь, и борьба, и простор. А между тем всему конец, впереди—одна смерть, а назади—жизнь дикая и пьяная, в которой настоящую радость, настоящее счастье давала только водка. Как он пил! И как все они пили! Когда нехватало денего на водку, они пили в мастерской спиртный лак. Чтоб уберечь лак, хозяин прибавлял в него анилиновой синьки, но они пили и с синькою, были готовы пить с чем угодно. Они калечили и отравляли свое тело отравляли душу, и все

шло к чорту. А как было иначе жить? На что было беречь душу? На то, чтобы ходить на народные гулянья, пить там чай и качаться на качелях? Эка радость!..

Андрею Ивановичу вспомнился Барсуков и та картина смерти, о которой он рассказывал; умирает рабочий и думает: «Для чего он все время трудился, выбивался из сил,—для чего он жил? Он жил, а жизни не видел... Какая же была цель его существования?»

И он тоже, Андрей Иванович,—он жил, а жизни не видел. А между тем ему казалось, он способен был бы жить,—жить широкою, сильною жизнью, полною смысла и радости; казалось, для этого у него были и силы душевные, и огонь. И ему страстно хотелось увидеть Барсукова или Щепотьева, поговорить с ними долго и серьезно, обсудить все «до самых основных мотивов». Но Щепотьев сидел в тюрьме, Барсуков был выслан из Петербурга.

Александра Михайловна посещала Андрея Ивановича каждый день. Она приносила ему вина, фруктов, всего, чем пытался Андрей Иванович разжечь свой пропавший аппетит. Занятый своими мыслями, Андрей Иванович не задавался вопросом, как она все это достает. Он привередничал, сердился, требовал то того, то другого. Но однажды, когда Александра Михайловна, входя в палату, остановилась у дверей и вступила в разговор с сестрою милосердия, Андрей Иванович, глядя издали на жену, был поражен, до чего она похудела и осунулась.

— Ты все еще на фабрике работаешь?—спросил Андрей Иванович, когда она поставила ему на стол бутылку елисеевского лафита. И горячая нежность шевельнулась в его душе.

— Пока на фабрике,—устало ответила Александра Михайловна.—Уж не знаю, нужно будет чего другого поискать. Работаешь, а все без толку... Семидалов к себе зовет, в фальцовщицы. Говорит, всегда даст мне место за то, что ты у него в работе потерял здоровье. Научиться можно в два месяца фальцовать; все-таки больше заработаешь, чем на пачках.

Андрея Иванович ужаснулся. Условия жизни и работы фальцовщиц были ему слишком хорошо известны. Все остальное свидание он был молчалив и задумчив.

Когда Александра Михайловна пришла на следующий день, Андрей Иванович долго молчал, не в силах заговорить от охватившего его волнения. Наконец, сказал:

— Знаешь, Шурочка... Я всю ночь про тебя думал... Я много с тобою поступал неправильно... Как я тебе теперь помогу? Я не знаю, что тебе делать. Только один мой завет тебе,—не поступай к нам в мастерскую: там гибель для женщины...

— Что же делать?

Андрей Иванович в тоске потер руки.

— Что? Я не знаю...

В конце апреля Андрей Иванович умер. Хоронили его на Смоленском кладбище. Было воскресенье. Большинство товарищей присутствовало на похоронах, в их числе Ляхов. Они на руках донесли гроб Андрея Ивановича до могилы. Тут же, на свеже-насыпанной могиле, Александра Михайловна поставила четверть водки, и справлены были поминки.

Похоронили Андрея Ивановича на самом конце кладбища, в одном из последних разрядов. Был хмурый весенний день. В колеях дорог стояла вода, по откосам белел хрящеватый снег, покрытый грязным налетом, деревья были голы, мокрая буро-желтая трава покрывала склоны могил, в проходах гнили прошлогодние листья.

Но не смертью и не унынием дышала природа. От земли шел теплый, мягкий, живой запах. Сквозь гниющие коричневые листья пробивались ярко-зеленые стрелки, почки на деревьях наливались. В чаще весело стрекотали дрозды и воробьи. Везде кругом все двигалось, шуршало, и тихий воздух был полон этим смутным шорохом пробуждавшейся молодой, бодрой жизни.

II

КОНЕЦ АЛЕКСАНДРЫ МИХАЙЛОВНЫ

(ЧЕСТНЫМ ПУТЕМ)

I

Александра Михайловна кончила фальцовать листы «Петербургского Вестника». Она сравняла с боков стопку сфальцованных листов и устало облокотилась об нее.

За соседним верстаком Грунька Полякова, крупная девушка с пунцовыми губами и низким лбом, шила дефектные книги. Она не торопясь шила и посвистывала сквозь зубы, как будто не работала, а только старалась чем-нибудь убить время: за шитье дефектных книг платят не сдельно, а поденно. Александра Михайловна искоса следила за Поляковой.

— Что это, какая вам всегда легкая работа!—не вытерпела она.

Полякова медленно повернула голову и небрежно оглядела Александру Михайловну.

— Я больная, у меня ревматизм в руках.

— Больная...—Александра Михайловна помолчала.—Вы, может-быть, больная, зато вы есть одна. А у других, может, ребенок есть, его надо поить-кормить.

— Как кому судьба.

— И вовсе судьба тут не при чем. Дело тут от мастера зависит, а не от судьбы.

— От мастера? Что-о вы?.. От какого-такого мастера?

Полякова нарочно повысила голос. Мимо как раз проходил мастер Василий Матвеев. Он услышал вопрос Поляковой и внимательно покосился на них. Александра Михайловна поспешно отошла прочь.

На круглых часах над дверью мастерской пробило четыре. У бокового окна работала за верстаком приятельница Александры Михайловны, Таня Капитанова. Солнце светило в окно, Таня непрерывно наклонялась и выпрямлялась. Когда она наклонялась, ее голова с пушистыми золотыми волосами попадала в полосу света и как будто вся вспыхивала сиянием.

Александра Михайловна подошла и сказала:

— Пора чай пить.

— Сейчас кончу!—торопливо ответила Таня.

Устало понурившись, Александра Михайловна с удовольствием и завистью смотрела на ее работу. Таня была лучшею работницею мастерской. Захватив со стопки большой печатный лист, она сгибала его на папке, с неуловимою быстротою взглянув на номера, и проводила по сгибу костяшкою. Лист как будто сам собою сгибался, как только его касались тонкие пальцы Тани. При втором сгибе мелькал столбец цифр, при третьем—какая-то картинка, сложенный лист летел влево, а в это время со стопки уже скользил на папку новый.

Таня сбросила с папки последний сфальцованный лист.

— Ну, пойдемте!

— Счастливая ты, Таня!—вздохнула Александра Михайловна.

В работе наступил перерыв. Девушки сидели кучками по четыре-пять человек и пили чай. В раскрытые окна несло жаром июньского дня, запахом известки и масляной краски.

Александра Михайловна и Таня пили чай вместе с двумя другими работницами,—вдовою переплетного подмастерья Фокиною и бедною пожилою девушкою Дарьей Петровною. Александра Михайловна, сгорбившись, сидела на табуретке, испытывая приятное ощущение отдыха. Она уж третий месяц работала в мастерской, но все еще при каждом перерыве ей хотелось отдыхать долго-долго, без конца.

— Что за история такая!—задумчиво сказала она.—Все мне Васька Матвеев трудную работу дает. Напоила его кофеем, угостила,—думала, легче станет. Неделю давал шитье в прорезку, фальцовку на угол, а потом опять пошло по старому.

Фокина усмехнулась.

— А вы как же думали? Вы думали, угостили раз, и готово дело! У него положение: поставишь угощение,—будет тебе хорошая работа на неделю.

— Вот так-так!—Александра Михайловна скорбно задумалась.—Что же это такое? Четыре человека их, мастеров. Вишневка, кофей, пирожки,—рубль шестьдесят семь копеек мне обошлось. Четверть фунта кофею выпили, два фунта сахару с'ели, что с'ели, что по карманам себе напихали.... Неужто мало им?

— А вы их одна, что ли, угощаете?—желчно возразила Фокина.—Раз-то, другой, всякая угостит; кому же они трудную работу будут давать?

— Так ведь, господи, я не о том, что трудная! Пускай и трудную работу дают, а чтоб только правильно делали, не обижали людей.

Таня гордо сказала:

— А я вот никого ни разу не угощала! И не стану угощать, без них справлюсь.

— А я тебе, Танечка, вот что скажу,—медленно произнесла Дарья Петровна:—не гордися! Погордишься, милая,—погордишься, а потом пожалеешь. Разорение тебе какое, что ли, мастера уважить? А сила у него большая.

— Как же это мне быть теперь?—в печальном недоумении спросила Александра Михайловна:—девять-десять рублей заработаешь в месяц, что же это? Разве на такие деньги проживешь с ребенком?

— Вы вот что: попросите себе у Василия Матвеева приклейку,—посоветовала Дарья Петровна.—Вы уж третий месяц работаете, вам давно пора приклейку давать. А это работа выгодная. Вон-он Федька идет, может, он знает, спросите, есть ли сейчас приклейка.

У Дарьи Петровны было смиренное, желто-бледное лицо, и она с ненужною угодливостью заглядывала в глаза тому, с кем говорила.

Александра Михайловна остановила проходившего брошюранта и ласково спросила:

— Не знаешь, Федя, есть сейчас у мастера приклейка?

— Сколько угодно! «Русская поэзия», с портретами. Десять тысяч экземпляров.

В дверь заглянул из коридора переплетный подмастерье Ляхов. Он быстро вошел в комнату, схватил Федьку за плечо и грозно спросил:

— Тебе чего тут нужно?

— Чего... А вам чего?—с недоумением пробормотал Федька.

Ляхов поднес к его носу крепкий кулак.

— Я тебе, негодяй, все зубы твои повыбью!.. Пошел прочь, не сметь с Александрой Михайловной разговаривать!!

— Эге!—Федька весело усмехнулся и, подняв брови, с любопытством метнул взгляд на Александру Михайловну.

— Господи, что же это такое!—воскликнула Александра Михайловна.—Василий Васильевич, вы с ума сошли, что ли?

— Я никакому мужчине не позволю говорить с Александрой Михайловной! Еще раз увижу тебя,—изувечу!—крикнул Ляхов и свирепо выкатил глаза.

— Да что же это, господи! Василий Васильевич, я к хозяину пойду! Как вы смеете меня позорить?

— Так вот, помни!

Ляхов еще раз выразительно потряс кулаком перед носом пятившегося Федьки и, не глядя на Александру Михайловну, вышел.

Улыбавшийся Федька в юмористическом ужасе продолжал пятиться к верстакам.

Александра Михайловна сидела красная и сконфуженная.

— Ну что же это такое, скажите, пожалуйста! Вот уж второй месяц не дает мне покою. Пристает везде, позорит, просто проходу никакого нету!.. И чего он ко мне привязался!

— Везде только про вас и говорит, такой бесстыдник!—сочувственно-негодующе сказала Дарья Петровна.—Влюблен, говорит, не могу жить без нее... Это женатый-то человек! Такой стыд!

— Намедни пришел к нам,—усмехнулась Фокина,—рассказывает про свою любовь, плачет,—спьяну, конечно. Если, говорит Александра Михайловна меня не удовлетворит, я, говорит, как только листья осыпятся, повешусь в Петровском парке. «Чего же,— я говорю,—ждать? Это и теперь можно».—«Нет, говорит, когда листья осыпятся».

— А еще был друг покойнику Андрею Ивановичу!— укоризненно вздохнула Александра Михайловна, и чуть заметная самодовольная улыбка пробежала по ее губам.

Девушки кончали пить чай и принимались за работу. В огромной живой машине начинали шевелиться ее части, и вскоре она пошла в ход быстрым, ровным темпом.

Александра Михайловна вошла в комнату мастера. Василий Матвеев, высокий, грузный мужчина с мясистым лицом, наклонясь над верстаком, накалывал листы. Он оглядел Александру Михайловну своими косящими глазами и молча продолжал работать.

Александра Михайловна сказала:

— Василий Матвеев! Я работу кончила, дай мне приклейку!

Мастер продолжал молча накалывать.

— Василий Матвеев!

— Да подожди ты, видишь, занят я!—грубо огрызнулся он.

Александра Михайловна, стиснув зубы, смотрела на его красное, потное лицо. Три недели назад Василий Матвеев ущипнул ее в руку около плеча, и она сурово оттолкнула его. «Ишь, недотрога какая выискалась!»—ядовито заметил он и с тех пор стал во всем теснить. Только ту неделю, когда Александра Михайловна напоила его кофеем, он был немножно ласковее.

Василий Матвеев, не спеша, продолжал работать. Александра Михайловна сердито спросила:

— Скоро, что ли? Мне нет времени ждать.

— Приклейку,—проворчал мастер.—Тебе рано приклейку, напортишь.

— Нет, не рано. Приклейка через полтора месяца полагается, а я уж третий месяц работаю.

— Приклейку... Мастеру уважения не доказываешь, а тоже, приклейку ей давай... Что нынче с Грунькой говорила?

— Да что, Василий Матвеев, разве не правду я сказала? Одним все легкую работу даете, другим все трудную. А ведь жить-то всем нужно.

— Нет сейчас приклейки, ступай!—оборвал Василий Матвеев.

Левая щека Александры Михайловны задергалась.

— Нет, есть приклейка, я знаю: «Русская поэзия»... Я к хозяину пойду.

Мастер молчал. Александра Михайловна решительно пошла к выходу.

— Там, в углу,—буркнул Василий Матвеев.

Она воротилась.

— Это вот?.. Какую картину взять?

— Пушкина портрет. Тысячу возьми, не больше.

— На какую страницу приклеивать?

— Да отстань ты, пожалуйста, не мешай!.. Пятьдесят шестая страница.

Александра Михайловна вышла. Внутри у нее кипело от злобы: десять минут ушло на переговоры, а он отлично знает, как дорого время при сдельной работе. Но ей было приятно, что она все-таки добилась своего. Александра Михайловна распустила пачку портретов, смазала их клеем и принялась за работу.

Кругом стоял непрерывный шелест от сворачиваемых листов. Слышно было, как под полом стучал в переплетном отделении газомотор.

— Ишь, ведьма-то наша, уезжать собирается!—сказала рядом Манька, бойкая девочка лет шестнадцати.

Гавриловна, худая старуха в грязной, отрепанной юбке, стояла у печки и с серьезным лицом стучала в нее костяшкою.

— Стучит, чтоб помело подавали!—засмеялась другая девочка, Дунька.

— Тара-та-там! Тара-та-там!.. Тара-та-та-та-там!—хрипло напевала полоумная Гавриловна, нелепо изогнув руки, и кружилась около печки на одном месте.

Манька спросила:

— Ты чего, тетенька, вертишься?

— Я, милая, молода была, много польку танцовала, все в одну сторону. Теперь раскручиваюсь... Тара-та-там! Тар-та-там!..

— Что это за безобразие!—сердито крикнула Фокина.—Работать мешает... Иди на место, слышишь ты!

— И вправду, что это!—сказала Александра Михайловна.—Работать нужно, а она развлекает. Ведь нельзя же, люди делом заняты!

Гавриловна молча стала к станку, поклонилась в пояс стопке листов и принялась фальцовать. Минуты две она молча работала, потом вдруг повернулась к Фокиной и громко крикнула:

— Чорт тебя зашиби большим камнем! Белуга астраханская!

Девочки прыснули.

— Провались ты провалом, лонни твой живот! Чтоб к тебе ночью домовой на постель влез!

— Хо-хо-хо!—засмеялись брошюранты.

Брошюрант Егорка крикнул:

— К ней самой, братцы, он каждую ночь лазает!

Гавриловна обрушилась бранью на него. Брошюранты смеялись и изощрялись в ругательствах, поддразнивая Гавриловну. На каждую их сальность она отвечала еще большею сальностью. Это было состязание, и каждая сторона старалась превзойти другую. Девочки, радуясь перерыву в работе, слушали и смеялись.

К вечеру Александра Михайловна вклеила картины. Она сделала работу в два часа, за тысячу приклеек двадцать копеек—хорошо!.. Довольная, она понесла работу к мастеру.

Василий Матвеев раскрыл книжку, посмотрел и равнодушно сказал:

— Не на то место приклеила.

Александра Михайловна испуганно глядела на него.

— Как не на то? Ты же мне сам сказал,—на пятьдесят шестую страницу!

— Куда лицом вклеила, видишь? Я тебе говорил, что ты этого еще не можешь. «От Пушкина до Некрасова»,—на эту сторону нужно было, к заглавию.

И он насмешливо смотрел косящими глазами, у которых нельзя было поймать взгляда. И Александра Михайловне казалось,—он потому и может быть так жесток, что его душа загорожена от людских глаз.

— Так ты бы мне так и сказал—к пятьдесят седьмой странице!— произнесла она обрывающимся голосом.

— Ну, ну, что я, глупее тебя, что ли? Говорил, нельзя тебе еще приклейку давать.... Ступай, отклеивай.

Александра Михайловна, убитая, воротилась к верстаку; хотелось схватить, порвать всю работу, душили бессильные слезы: пол-дня уйдет теперь на то, чтоб аккуратно отклеить картины и снова вклеить их на место.

Она вяло взяла в руки нож и принялась за отклейку.

II

Пробило восемь часов, мастерскую отперли. Александра Михайловна сунула опостылевшую работу под верстак и побрела домой.

Зина, семилетняя дочь Александры Михайловны, дремала на кровати.

— Вставай!—угрюмо сказала Александра Михайловна.—Картошку разогрела?

— Разогрела.

— Принеси.

Зина принесла из кухни разогретый жареный картофель, оставшийся от обеда. Придвинули столик к кровати, стали ужинать. Поели невкусного разогретого картофеля, потом стали пить чай. Зине Александра Михайловна намазывала на хлеб тонкий слой масла, сама ела хлеб без масла.

— Что это?—сурово спросила Александра Михайловна и взяла Зину за локоть.—Что это? Господи! Где это ты порвала?

Она дернула Зину к себе. Весь рукав ее платьица до самого плеча был разодран.

— Да что же это такое! Что ты, с собаками, что ли, грызлась?

Зина захныкала.

— Это мне Васька хозяйкин сделал!

— Васька хозяйкин? Ты тут балуешься, а я всю ночь сиди, рукав тебе зашивай?

Она схватила Зину за волосы и дернула. Зина отчаянно взвизгнула. Александра Михайловна трясла и таскала ее за волосы, а другою рукою изо всех сил била по платью и с радостью ощущала, что Зине, правда, больно, что ее тело вздрагивает и изгибается от боли.

— Ой! Ой!.. Мама!.. Мама!.. Ой!..—испуганно выкрикивала Зина.

Александра Михайловна еще раз больно дернула ее за волосы и отпустила. Зина залилась плачем.

— Что? Будешь теперь помнить?

В комнату сходились жильцы. Девушка-папиросница, нанимавшая от хозяйки кровать пополам с Александрой Михайловной, присела к столу и хлебала из горшечка разогретые щи. Жена тряпичника, худая, с бегающими, горящими глазами, расстилала на полу войлок для ребят. Старик-кочегар сидел на своей койке и масляничсто-черными руками прикладывал к слезящимся глазам примочку.

Александра Михайловна злорадно говорила:

— Ты думала, помер отец, так на тебя и управы не будет? Мама, дескать, добрая, она пожалеет... Нет, милая, я тебя тоже сумею укротить, ты у меня будешь знать! Ты бегаешь, балуешься, а мама твоя с утра до вечера работает; придет домой, хочется отдохнуть, а нет: сиди, платье тебе чини. Вот порви еще раз, ей-богу, не стану зашивать! Ходи голая, пускай все смотрят. Что это, скажут, какая бесстыдница идет!..

Зина ныла и ела хлеб с маслом.

Поужинали скоро. Все укладывались спать. Из соседних комнат сквозь тонкие переборки доносился говор, слышалось звяканье посуды, громкая зевота. Папиросница разделась за занавескою и легла на постель к стене. Зина вытащила из-под кровати тюфячок, расстелила его у столика, и, свернувшись клубком, заснула. Улеглись и все остальные. Александра Михайловна угрюмо придвинула лампочку и стала зашивать разодранный рукав Зинина платья.

На душе было мрачно. Она шила и думала, и от всего, о чем думала, на душе становилось еще мрачнее. Шить ей было трудно: руки одеревянели от работы, глаза болели от постоянного вглядывания в номера страниц при фальцовке; по черному они ничего не видела, нитку ей вдела Зина. Это в двадцать-то шесть лет! Что же будет дальше?.. И голова постоянно кружится, и в сердце болит, по утрам тяжелая, мутная тошнота...

В ушах все слышался шелест сворачиваемых листов и мерный стук газомотора под полом. Мысль обращалась на мастерскую, и Александре Михайловне представлялось, как все там быстро движется, торопится, старается, а над этой суетой тяжело лежит что-то холодно-жадное и равнодушное, и только оно одно имеет пользу от этой суеты; а что от нее им всем? Стараешься, выбиваешься из сил, а должаешь все больше, живешь, как нищая, совестно пройти мимо мелочной лавки, питаться приходится одною картошкою. И для чего тогдъ вся работа, все унижения, волнения? А уйти некудъ. И дальше впереди будет то же. Попала она в темную яму, и нет из нее выхода. Нет и друзей, которые бы протянули руку.

Встало перед Александрой Михайловной конфузливое, белесое лицо эстонца-слесаря Лестмана. Он был друг покойного Андрея Ивановича и первое время поддерживал ее деньгами. Но три недели назад Лестман неожиданно сделал ей предложение выйти за него замуж; Александра Михайловна отказала сразу, решительно, с неожиданною для нее самой быстротой; как будто тело ее вдруг возмутилось и, не дожидаясь ума, поспешно ответило: «нет! нет!» До тех пор она словно не замечала, что этот участливый, тускло-серый человек— мужчина, но, когда он заговорил о любви, он вдруг стал ей противно-чужд. Лестман перестал помогать Александре Михайловне, но каждую неделю, в субботу или воскресенье, приходил к ней и—скромный, застенчивый—сидел, пил чай и скучно разговаривал. Глаза его как будто закрылись, и он перестал замечать ее нищету. И Александре Михайловне было странно, как это она раньше принимала от него деньги и не понимала, что ни с того, ни с сего никто не станет давать их.

Кругом дышали, храпели и бормотали во сне люди. Комната медленно наполнялась удушливою, прелою вонью. Лампочка

с надтреснутым стеклом тускло светила на наклоненную голову Александры Михайловны. За последние месяцы, после смерти Андрея Ивановича, она сильно похудела и похорошела: исчезла распиравшая ее полнота, на детски чистый лоб легла дума, лицо стало одухотворенным и серьезным.

Она шила, и мрачная тоска все тяжелее налегала на душу. Напрасно она старалась найти что-нибудь, от чего бы встрепенулась душа и с ожиданием взглянула вперед. На что ни наталкивались мысли, все было черно и безнадежно... Завтра получка. Что ей придется получить? Рублей пять за две недели. Видно, нет другого выхода: придется смириться перед мастером, пойти на уступки; нужно будет почаще угощать его, чтоб давал работу получше... Негодяй подлый! Она со злобою вспомнила, как он насмешливо смотрел на нее косящими глазами, у которых нельзя было поймать взгляда. Знает свою силу!.. И от полученной обиды снова заныло в душе.

Александра Михайловна стала раздеваться. Еще сильнее пахло удушливою вонью, от нее мутилось в голове. Александра Михайловна отвернула одеяло, осторожно сдвинула к стене вытянувшуюся ногу папиросницы и легла. Она лежала и с тоскою чувствовала, что долго не заснет. От папиросницы пахло селедкою и застарелым, грязным потом; по зудящему телу ползали клопы, и в смутной полудремоте Александре Михайловне казалось,—кто-то тяжелый, липкий наваливается на нее, и давит грудь, и дышит в рот спертою вонью.

III

На следующий день после обеда Александра Михайловна, в накинутом на плечи большом платке, вошла в комнату мастера и приперла за собою дверь. Василий Матвеев, с деревянным лицом, молча следил за нею.

Александра Михайловна весело и приветливо заговорила:

— Вот, Василий Матвеев, у меня сегодня большой праздник, хочу тебя угостить!

Она достала из-под платка полубутылку портвейна и завернутые в бумагу пять кондитерских пирожных.

Лицо Василия Матвеева смягчилось.

— Хорошее дело, хорошее дело! Не забываешь мастера. Другой раз и он тебе может пригодиться.

Он встал, покосился на припертую дверь и вдруг быстро наклонил к Александре Михайловне лицо с забегавшими глазами.

— Приходи нынче после работы, вместе винцо разопьем.

И Александра Михайловна почувствовала, как его жирная рука взяла ее под грудь.

— Ах, ты, негодяй!—Она изо всей силы ударила его по руке.— Подлец ты этакий, как ты смеешь?!

Василий Матвеев отшатнулся.

— Что такое? В чем дело?—невинно и громко спросил он.—Что тебе нужно?

Звенящим от слез голосом Александра Михайловна кричала:

— Я честная женщина, а ты смеешь меня за перед хватать?

В косых глазах Матвеева еще бегал блудливый огонек, но лицо уже было сурово и холодно.

— Ты что, что ты тут скандалишь?—повысил он голос, наступая на Александру Михайловну.—Что это ты такое принесла мне? Ступай вон!

— Негодяй! Подлец!—Александра Михайловна вышла из комнаты.

Красная, с блестящими глазами, она быстро подошла к верстаку, спрятала бутылку и остановилась, неподвижно глядя на свою работу.

— Что это у вас там было? Чего это он?—с жадным любопытством спрашивала Манька.

— Не твое дело!—резко ответила Александра Михайловна, не поворачивая головы. Она кусала губы, чтоб сделать себе больно и не дать прорваться рыданиям.

Кругом стоял непрерывный шорох сворачиваемых листов, работа кипела, молчаливая и напряженная. С разбросанных по верстаку портретов смотрели курчавые Пушкины, все в пледах и с скре-

щенными руками, все с желчными, безучастными к происшедшему лицами.

— У-у, милая моя!—раздалось в стороне.

Гавриловна приплясывала перед верстаком и горячо прижимала к груди только что сшитую большую веленевую книгу; потом она положила ее на четыре других, уже сшитых книги, отодвинула пачку и низко, в пояс, поклонилась ей и что-то бормотала.

В мастерскую, в сопровождении Василия Матвеева, вошел хозяин, Виктор Николаевич Семидалов. Девушки оставили работу и с любопытством следили за ним: было большою редкостью, когда хозяин заглядывал в брошюровочную.

Оба прошли прямо к верстаку Александры Михайловны. Василий Матвеев разводил руками и говорил:

— Невозможно, Виктор Николаевич, углядеть! Такой народ, просто наказание! Вот, извольте сами посмотреть!

Он полез под верстак и вытащил вино.

— Изволите видеть?

Хозяин, мрачный, как туча, смотрел на Александру Михайловну.

— Скажите, пожалуйста, вы не знали, что спиртные напитки запрещается вносить сюда? Я принял вас в память вашего мужа, помогал вам, но это вовсе не значит, что вы у меня в мастерской можете делать, что вам угодно.

Александра Михайловна, бледная, с сжатыми губами, молчала, опустив глаза.

— Я и не знал, что вы выпиваете!—с усмешкою прибавил хозяин.—Да еще какие напитки дорогие,—портвейн! А я думал, вы нуждаетесь... Слушайте: в первый и последний раз я вас прощаю, но смотрите, если это повторится еще раз!

Он пренебрежительно оглядел ее и вышел. Прислонившись к соседнему верстаку, стоял вихрастый, курносый мастер над девушками переплетного отделения, Сугробов.

— Ты давно тут работаешь?—спросил он, когда хозяин и Матвеев вышли.

— Третий месяц,—машинально ответила Александра Михайловна.

— Ну, не выдержать тебе,—с состраданием произнес он.—Беги лучше прочь, погубишь себя!

И он пошел к себе вниз; Александра Михайловна неподвижно стояла перед верстаком. Подошли Дарья Петровна и Фокина. Дарья Петровна спросила:

— Что это он на вас? Ведь вино-то вы ему купили. Что такое случилось?

— Так... Все равно...

— Мало, что ли, показалось ему?

Фокина испытующе взглянула на Александру Михайловну и усмехнулась.

— От такой красивенькой дамочки ему не портвейна нужно.

Дарья Петровна высоко подняла брови и украдкою бросила на Александру Михайловну быстрый взгляд.

— Вот мерзавец!—сочувственно вздохнула она.

У Александры Михайловны запрыгали губы.

— Уйду я отсюда!

Дарья Петровна помолчала.

— Куда уйти-то? Вы думаете, лучше у других? А я вам скажу, может, еще хуже. Тут хоть хозяин добрый, не гонится за этим, а вон у Коникова,—там прямо иди к нему девушка в кабинет.

— Какого Коникова? Конюхов фамилия его,—поправила Фокина.—На пятнадцатой линии.

— Ай Конюхов? Ну, Конюхов, что ли.

Дарья Петровна опять помолчала, взглянула на Александру Михайловну и еще раз сочувственно вздохнула.

Александра Михайловна со странным чувством слушала их. То, что случилось, было неслыханно возмутительно. Все глаза должны были загореться, все души вспыхнуть негодованием. Между тем сочувствие было вялое, почти деланое, и от него было противно.

Она возвращалась домой глубоко-одинокая. Была суббота. Фальцовщицы и подмастерья, с получкою в кармане, весело и торопливо расходились от ворот в разные стороны. Девушек поджидали у ворот кавалеры,—писаря, литографы, наборщики. У всех были чуждые лица, все были заняты только собою, и Александре Михайловне

казалось,—лица эти так же мало способны осветиться сочувствием к чужой беде, как безучастные лица бумажных Пушкиных.

Громко и весело разговаривая, Александру Михайловну обогнала кучка девочек-подростков. Впереди, с лихим лицом, шла Манька. Под накинутым на плечи платком гибко колебался ее тонкий полудетский стан. У панели, рядом с ломовыми дрогами, на кучке старых рельсов спал ломовик. Манька громко крикнула:

— Дядя, зачем спишь?!

Девочки расхохотались.

Ломовик поднял взлохмаченную голову, молча поглядел девушке вслед и снова опустил голову на рельсы.

— Вот бы ему бабу здоровую подложить под бок, было бы ему тепло!—говорила Манька, быстро идя дальше.—Аа-чхи!!—вдруг громко сделала она, как будто чихая, в лицо двум стоящим у панели парням.

Парни пустили ей вслед сальную остроту. Девочки со смехом свернули за угол.

«Какая все помойная яма!»—с тупым отвращением думала Александра Михайловна. И она вспомнила, как хорошо и чисто жилось ей, когда был жив Андрей Иванович.

Спускались белые сумерки. У ренского погреба, кого-то поджидая, стояла Таня, оживленная и веселая, со своими золотящимися, пушистыми волосами. Из погреба вышел красивый, статный гвардейский матрос. Таня взяла его под руку.

— Вот что: килек не надо, будет селедка. Лучше винограду купим.

Моряк поклонился Александре Михайловне. Это был жених Тани, Журавлев. Они пошли под руку через улицу к колониальному магазину. Александра Михайловна смотрела вслед, смотрела, как они тесно прижимались друг к другу, и еще сильнее чувствовала свое одиночество.

IV

Назавтра, в воскресенье, Александра Михайловна лежала под вечер на кровати. Ей теперь вообще хотелось много лежать, а вчера она к тому же заснула, когда уже рассвело; в соседней комнате пьяные

водопроводчики подрались с сапожником, били его долго и жестоко; залитого кровью, с мотающейся, бесчувственною головою, сапожника свезли в больницу, а водопроводчиков отвели в участок. Потом воротился домой тряпичник, тоже пьяный, и стал бить свою жену; она ругалась и как будто нарочно задирала его, а он бил ее еще жесточе.

В комнате никого не было. Взрослые разошлись, дети играли на дворе.

Громкий голос спросил в коридоре:

— Здесь Колосова живет, Александра Михайловна?.. Эй, есть кто тут?

Александра Михайловна поспешно поднялась с постели, застегивая на груди кофточку. В комнату вошел Ляхов, с тросточкой в руке.

— Здравствуйте!.. Вот так квартира,—нигде никого нет!

Александра Михайловна холодно ответила:

— Здравствуйте!

— Моя жена не у вас?

— Нет тут вашей жены.

— Нету.... Гм!

Ляхов сел на качавшийся стул и, играя тросточкою, внимательно оглядывал обстановку.

— Ваш покойный муж был глуп,—неожиданно сказал он.

Александра Михайловна заволновалась.

— Василий Васильевич, если вы по-хорошему пришли, то так, а нет, то лучше ступайте отсюда!

— Он был глуп. Он вас не умел ценить. Если бы он был немножко поумнее, он бы вас холил, на руках носил бы. Он бы понимал, какая у него хорошая жена. А он вас только обижал.

Ляхов странными, что-то таящими в себе глазами оглядывал Александру Михайловну, и она, волнуясь, сама того не замечая, оправляла юбку и нащупывала пальцами, все ли пуговицы застегнуты на груди.

— Бросьте мастерскую, приходите ко мне жить,—продолжал Ляхов и придвинулся со стулом к кровати.—Я вам буду платить ка-

ждый месяц тридцать два рубля. Катьку прогоню, дам ей отдельный паспорт. Я без вас не могу жить.

Александра Михайловна, все больше волнуясь, встала и подошла к окну.

— Я не понимаю, Василий Васильевич, как вам не стыдно это говорить! Ведь вы были друг Андрею Ивановичу, он вас любил...

— Он был подлец, завистник! Он меня нарочно перед смертью женил на Катьке, по злобе, чтоб вы мне не достались.

Александра Михайловна засмеялась.

— Неужели? Скажите, пожалуйста!.. Мы ее, кажется, совсем напротив,—отговаривали итти за вас.

— Я для того только и в больницу ходил к Колосову, чтоб посмотреть, скоро ли он сдохнет,—вызывающе сказал Ляхов.

— Василий Васильевич, уходите отсюда вон. Я вас не желаю слушать!

— Зачем вы к окну ушли?

Ляхов тяжело дышал, с тем же странным, готовящимся к чему-то лицом. Он встал и подошел. От него пахло коньяком. Александра Михайловна старалась подавить вдруг охватившую ее дрожь. Ляхов, бледный и насторожившийся, с бегающими глазами, стоял, загораживая ей дорогу от окна. Задыхаясь, она поспешно заговорила:

— Василий Васильевич, что же это будет? Раньше в мастерской и на улице не давали мне проходу, а теперь уж на квартиру ко мне приходите? Сами подумайте, разве же так можно!

— Я вам сказал, что я вас люблю. А что я раз сказал, от того уж никогда не отступлюсь. Все равно, вы мне достанетесь, покою вам не будет... Я своего добьюсь...

Ляхов теперь тоже задыхался. Крепкий, с мускулистым затылком, он смотрел в лицо Александре Михайловне замутившимися, тупо-беспощадными, как у зверя, глазами. И Александра Михайловна поняла,—от этой животной, жестокой силы ей не защититься ни убеждениями, ни мольбами.

В дверях показался высокий, широкоплечий Лестман. Он снял с головы котелок и застенчиво приглаживал ладонью белесые волосы.

— Иван Карлыч, здравствуйте!—громко сказала Александра Михайловна и с неестественным оживлением пошла к нему навстречу мимо Ляхова.

Ляхов обернулся. Глаза его насмешливо вспыхнули.

— А-а, явленные мощи! Что так долго не являлись? Тебя уж тут заждались. С утра ждут,—что это милый не приходит?.. Местечко-то, значит, занято! Та-ак!..

Он засмеялся, надел шляпу и, не прощаясь, вышел...

Александра Михайловна радушно говорила:

— Садитесь, Иван Карлыч! Сейчас будем чай пить!

Она все еще не могла справиться с бившею ее дрожью. Лестман с недоумением следил за нею.

— Такой нахал этот Ляхов, просто я не понимаю!—сказала она.—С самого того времени, как Андрей Иванович помер, не дает мне нигде проходу. В мастерской пристает, на улице, на квартире вот... И придумать не могу, как мне от него отделаться!

Лестман покачал головою.

— Он сегда был нахал. Это не было корошо, что ваш муж уж давно его не прогонял.

Александра Михайловна сходила за кипятком, заварила чай. Лестман молча стал пить. От его приглаженных, словно полинявших волос, от плоского лица с редкою бородкою несло безнадежно трезвою скукою.

— Что это у вас, Иван Карлыч, рука завязана?—спросила Александра Михайловна.

— Это я себе руку зарезал на работе... Фельдшер посыпал каким-то пульвером, и еще больше заболела. Только я понял, что фельдшер неправильно сделает. «Нет,—я думаю,—надо не так». Взял спермацетной мази, снапса и вазелина, сделал мазь, положил на тряпку, и все сделалось сторовое. Теперь уже можно работать, а раньше эту целую неделю я не работал.

— А у вас как, платят, когда заболеешь?

— Если доктор записку дает, тогда платят семьдесят пять копеек за каждый день. У нас доктор очень добрый, всем дает, а только я не хотел брать. Мастер всегда сердится за это. Лучше же я не буду брать, тогда он мне будет давать хорошую работу.

Александра Михайловна вздохнула.

— Видно, везде мастера обижают рабочего человека!

— А вам и теперь всегда дают плохую работу?—осторожно спросил Лестман.

— Плохую. Так теснит мастер, просто я не знаю. Уж думаю, не перейти ли в другую мастерскую.

Лестман медленно мигнул, и в белесых глазах проползло что-то. Александра Михайловна прикусила губу и замолчала. Ей стало ясно: да, он ждет, чтоб она совсем запуталась и чтоб тогда пошла к нему. И ей вдруг представилось: где-нибудь в темной глубине моря сидит большая, лупоглазая рыба и разевает широкий рот, и ждет, когда подплывет мелкая рыбешка, чтоб слопать ее....

— Вы сколько же теперь саработаете?—осторожно выпытывал Лестман.

Александра Михайловна стала врать.

— Да зарабатываю, собственно, ничего. Двадцать рублей, а когда постараешься,—двадцать пять. Жить можно, ничего, а только все-таки обидно,—зачем они неправильно поступают!

Она низко наклонилась над чашкою, чтоб Лестман не видел ее лица, а сама думала: «всем, всем им нужно одного—женского мяса: душу чужую по дороге с'едят, только бы добраться до него»... Она резко и неохотно стала отвечать на вопросы Лестмана, но он этого не замечал. Помолчит, выпьет стакан чаю и расскажет, как он в Тапсе собирал муравьиные яйца для соловьев.

— Нужно взять две ольховых палочки, сдирать с них козицу и в воскресенье утром положить крестом на муравьиную кучу. Все муравьи уйдут. Можно эти яйца продавать, фунт стоит восемьдесят пять копеек.

И опять молчит.

Наконец, он встал уходить. Александра Михайловна проводила его до выхода, воротилась и села к окну. Смутные мысли тупо шевелились в мозгу. Она не старалась их поймать и с угрюмою, бездумною сосредоточенностью смотрела в окно. Темнело. В комнату сходились жильцы, за перегородкою пьяные водопроводчики играли на

гармонике. Александра Михайловна надела на голову платочек и вышла на улицу.

В сумерках по панелям проспекта двигалась праздничная толпа, конки, звеня и лязгая, черными громадами катились к мосту. Проходили мужчины,—в картузах, фуражках, шляпах. У всех были животные, скрыто-похотливые и беспощадные в своей похотливости лица. Толпа двигалась, одни лица сменялись другими, и за всеми ими таилась та же прячущаяся до случая, не знающая пощады мысль о женском мясе.

Александра Михайловна свернула в боковую улицу. Здесь было тише. Еще сильнее, чем всегда, она ощущала в теле что-то тоскливо-сосущее; чего-то хотелось, что-то было нужно, а что,—Александра Михайловна не могла определить. И она думала, от чего это постоянное чувство,—от голода ли, от не дававших покоя дум, или оттого, что жить так скучно и скверно? На углу тускло светил фонарь над вывескою трактира.

Стыдясь самой себя, Александра Михайловна подумала:

«Зайти разве, выпить?»

Она постояла, внимательно огляделась по сторонам и тихонько скользнула в дверь.

Народу в трактирчике было немного. За средним столом, под лампой-молнией, три парня-штукатура пили чай и водку, у окна сидела за пивом пожилая, крупная женщина с черными бровями. Александра Михайловна пробралась в угол и спросила водки.

Молодой штукатур, с пухлым лицом и большим, как у рыбы, ртом, обнимал своего соседа и целовался с ним.

— Пущай же об нас люди говорят, что мы худо поступаем!.. Пущай. Один истинный бог над нами! Алешка, верно я сказал?.. Ярославец, еще бутылочку!

— Ваня! Будет, не надо!

— Ну, «будст»!

— Не надо!

— Эй, еще бутылочку!

— Ваня, не рассчитывай!

Чернобровая женщина, держа кружку за ручку, с враждебным вниманием слушала их.

Половой поставил перед Александрой Михайловной графинчик, она налила рюмку и выпила. Водка захватила горло, обожгла желудок и приятным теплом разлилась по жилам. Как будто сразу во всем теле что-то подправилось, понурая спина выпрямилась, и стало исчезать обычное ощущение, что чего-то нехватает.

— Нет, не буду больше пить!—решительно произнес Алешка. Он взял с соседнего стола «Петербургский Листок», хотел-было начать читать и положил назад на стол.—Не стоит браться!— сказал он.

Чернобровая женщина, все так же враждебно глядя на него, громко спросила:

— Почему не стоит браться за литературу? Литература издается для просвещения! В ней пишут сотрудники, умные люди! Как же это за нее не стоит браться?

Штукатуры оглянулись и продолжали разговаривать. Чернобровая женщина обратилась к Александре Михайловне.

— Вот какой народ здесь в Петербургской губернии! Самый дикий народ, самый грубый. Поезжайте вы в Архангельскую губернию или Ярославскую. Вот там так развитой народ. И чем дальше, тем лучше. А в Смоленской губернии!.. Оттуда такое письмо тебе пришлют, что любо читать. А здесь, конечно, обломы все, только что в человеческой коже. Как они говорят: «эва! пущай!..»

Через час Александра Михайловна вместе с чернобровой женщиной выходила из трактира. Александра Михайловна рыдала и била себя кулаком в грудь.

— Я честная женщина, я не могу!—твердила она.—Уйду, уйду, от всех уйду!.. Жить хочешь, так потеряй себя... Все терпеть, терпеть!.. Куда же уйти-то мне, господи?

Волосы ее выбивались из-под платка, она качала растрепанною головою, а чернобровая женщина своим громким, уверенным голосом говорила:

— Это иезуитское правило,—всякий способ оправдывает свое средство!.. Иезуитское нормальное состояние...

V

В понедельник утром рассыльный положил перед Александрой Михайловной две толстые пачки веленевых листов.

— Подожди, что это такое? Почему мне два листа? Всем по одному дано.

— Мне какое дело, велено!—И рассыльный пошел дальше.

— Я не возьму, неси назад к мастеру, мне не надо!

За веленевые листы платят почти столько же, сколько за обыкновенные; между тем фальцовать веленевую бумагу много труднее: номеров страниц не видно даже на свет, приходится отгибать углы, чтоб номер пришелся на номер; бумага ломается, при сгибании образуются складки.

Александра Михайловна пошла в контору к хозяину. Там был и Василий Матвеев.

— Виктор Николаевич, позвольте узнать, почему мне дали два листа «Европейской флоры»? Всем по одному дано фальцовать, Поляковой ничего, а мне два.

Семидалов вопросительно взглянул на Василия Матвеева. Он развел руками и суетливо наклонился к хозяину.

— Так пришлось, Виктор Николаевич, ничего не поделаешь. Нужно же кому-нибудь дать, поровну на всех не поделишь.

— Вот Поляковой бы ты и дал,—сказала Александра Михайловна.

Матвеев покосился на нее.

— У Поляковой другая работа есть.

— Да-а, другая работа! Шитье в прорезку!

— Это все равно!—поучающе произнес хозяин.—Такую трудную работу нужно всем делить поровну, она права, работа на работу не приходится; нужно так распределять, чтоб никому не было обидно. Я вам это сколько раз говорил. Вы знаете, я люблю, чтобы все делалось справедливо.

Александра Михайловна с торжеством воротилась в мастерскую. Следом вошел Василий Матвеев. Он медленно обошел работавших, потом остановился около Александры Михайловны.

— Ты хозяину жаловаться! Посмотрим, много ли выгадаешь. Хочешь выше мастера быть?.. Ладно!

Через два дня шить в проколку эту же «Флору» досталось опять Александре Михайловне. Раздачею шитья заведывал Соколов, один из помощников Василия Матвеева. Александра Михайловна пошла к нему об'ясняться. Соколов грубо крикнул:

— Что это тут за королева об'явилась?.. Шей, что дают, и не рассуждай.

— Мне, милый мой, рассуждать нечего, а я к хозяину пойду,— спокойно возразила Александра Михайловна и отправилась в контору.

Хозяин выслушал Александру Михайловну и нахмурился.

— Знаете, голубушка, нельзя же все уже так поровну делить. Работа разная бывает, приходится иногда и потяжелее работу сделать.

С этих пор, завидев входящую в контору Александру Михайловну, Семидалов стал уходить. Первое время после ее поступления в мастерскую он покровительствовал ей «в память мужа», перед которым чувствовал себя в душе несколько виноватым. И его раздражало, что на этом основании она пред'являет требования, каких ни одна девушка не пред'являла, и что к ней нужно относиться как-то особенно, не так, как к другим.

Вообще в конторе совсем иначе относились к девушкам, чем к переплетным подмастерьям. С подмастерьями считались, их требования принимались во внимание. Требования же девушек вызывали лишь негодующее недоумение, и они находились в полной власти Василия Матвеева с помощниками. Подмастерья получали расчет каждую неделю, девушки—через две недели. Подмастерья имели законные расчетные книжки, девушкам заработок вписывался в простые тетрадки. Иногда, просматривая списки с платою, хозяин находил, что такая-то девушка заработала слишком много, вычеркивал девять рублей и вместо них ставил восемь.

— Попробовал бы он с нами так-то, мы бы ему показали!— смеялись подмастерья, когда девушки рассказывали им про это.

И Александра Михайловна не могла понять, потому ли так покорны девушки, что им нет управы на контору, или потому и нет

управы, что они так покорны. Она саднящими руками вкалывала иглу в плотную, как кожа, веленевую бумагу и с глухою ненавистью следила за Василием Матвеевым: жирный, краснорожий, надувшийся дарового кофе с вишневкою, он прохаживался между верстаками, отдуваясь и рыгая. Как будто барин расхаживал среди своих крепостных. А девушки, ругавшие его за глаза, в глаза были предупредительны и почтительны.

Мастерская становилась Александре Михайловне все противнее. Противна была и сама работа, и шедшая от залежавшихся листов пыль, и тянувший с лестницы запах варившегося внизу клея. Противны были люди кругом. Брошюранты, работавшие в перемежку с девушками, нарочно говорили при них сальности и вызывали их на сальные ответы. Но противнее всего было, когда девушки ссорились между собою. А ссорились они часто, из-за каждого пустяка. И тогда одна бросала в лицо другой грязные, вонючие оскорбления и громко уличала ее, что она живет на содержании у ретушера Образцова, а кроме того бегает ночевать к Володьке-водопроводчику. Бесстыдно рассказывались невероятные вещи о подброшенных и задушенных детях, о продаже себя за бутылку пива. Мастера и брошюранты, засунув руки за пояса блуз, толпились вокруг и, довольные, покатывались со смеху; девочки-подростки с жадным любопытством слушали, блестя глазами. А поссорившиеся, как пьяные, не чувствовали своего унижения и продолжали перебрасываться смрадными словами.

Больше всего Александру Михайловну поражало, что среди девушек не было решительно никаких товарищеских чувств. Все знали, что Грунька Полякова, любовница Василия Матвеева, передает ему обо всем, что делается и говорится в мастерской,—и все-таки все разговаривали с нею, даже заискивали. И Александра Михайловна вспоминала, как покойный Андрей Иванович с товарищами жестоко, до полусмерти, избил однажды, на празднике иконы, подмастерья Гусева, наушничавшего на товарищей хозяину.

Вообще Александра Михайловна часто вспоминала теперь Андрея Ивановича и удивлялась, что не замечала раньше, какой он был умный и хороший. В его мыслях, прежде чуждых ей и далеких, как мысли книги, она теперь чувствовала правду, живую и горячую, как

кровь. Ей понятным становилось его страстное преклонение перед товариществом, тоска по слабости этого товарищества в жизни. Почему, напр., девушки втайне относятся друг к другу, как к врагам, когда всем им было бы лучше, если бы они держались дружно? И Александра Михайловна пробовала говорить им это, убеждать, но, как только доходило до дела, она чувствовала, что и самой ей приходится плюнуть на все, если не хочет остаться ни при чем.

Привезут из типографии новые листы. Все девушка настороржатся, глаза беспокойно бегают. Нельзя зевать, нужно узнать, выгодная ли работа; если выгодная,—нужно добыть ее или выклянчить у мастера. Листы обернуты картузною синею бумагою и обвязаны бечевкою. Девушки толпятся вокруг, беспокойно шушукаются, расспрашивают друг друга. Входит мастер.

— У кого работа на исходе?—спрашивает он.

— У меня вся,—отзывается Александра Михайловна.

Таня испуганно шепчет:

— Зачем говорите? Молчите! Я смотрела: бумага толстая-претолстая, и на свет номера не видать!

Рассыльный кладет перед Александрой Михайловной пахнущую типографскою краскою кипу.

— Зачем говорите, не узнавши?—с сожалением поучает ее Таня.— Вы так всегда будете с плохой работой.

— Да как же узнаешь-то?—раздраженно возражает Александра Михайловна и, глотая слезы, глядит на толстую кипу, за которую опять получит гроши.

— А вы раньше спросите девушку, которая цензурные экземпляры фальцовала. Или вот, как мы сейчас сделали: надорвали на уголке картузную бумагу и подсмотрели. Развернуть нельзя, тогда уже не позволят отказаться, а так никто не заметит, что надорван угол, а заметят,—скажут: мужик вносил, углом зацепил за косяк. Тут, знаете, если смирной быть, только одни об'едки будут доставаться.

Таня нравилась Александре Михайловне все больше. Всегда она была предупредительная, всегда готовая на помощь. Они теперь работали за одним верстаком, и Таня обучала Александру Михай-

ловну приемам работы, показывала, какими способами добывать ее. Возьмет, напр., выгодную работу у Василия Матвеева, потом идет наверх к Соколову. Соколов отказывает:—«Тебе пусть Матвеев дает».—«У него нету, он к тебе послал». Наберет работы себе и Александре Михайловне и сложит все под верстаком. Когда же грозит невыгодная работа, или когда Василий Матвеев тянет выдачу, отговариваясь недосугом, они достают из-под верстака запасную работу и делают ее.

— Как ты, Танечка, все достать умеешь!—восхищалась Александра Михайловна.

Таня гордо отвечала:

— Тут иначе нельзя. От косоглазого справедливости разве дождешься? Всякую пакость сделает, особенно нам с вами, что мы его презираем, не уступаем ему. Вы знаете, как к нему в комнату ни зайдешь,—сейчас начинает: пойди с ним на любовь... С боровом этим жирным! Такой дурак! Думает, не обернемся без него. Как же!

Александра Михайловна вздохнула.

— Тебе-то вот хорошо. Работаешь ты легко, на свете одна,— много ли тебе нужно? А вот как мне-то! Девочку надо кормить, работать никак не приноровлюсь. Уж так другой раз тяжело, просто я не знаю.

Таня молча теребила и сгибала угол бракованного листа. Поколебавшись, она заговорила:

— «Много ли нужно»... Я вам, Александра Михайловна, всю правду скажу: мне много-много денег нужно! Мне сто рублей нужно, вот сколько. Потому я так и стараюсь. Вы знаете, осенью Петя кончает службу, нужно какого-нибудь дела искать. Надумал он поступить в артельщики, в биржевую артель. Дело отличное, пятьдесят рублей жалованья, доходы есть. А только нужно залог в двести рублей; для начала можно сто,—другие сто из жалованья будут вычитать. Вот видите, сколько мне нужно. Восемьдесят рублей я уже скопила, еще двадцать осталось. Бог даст, в три месяца все сто будут готовы, и на свадьбу еще останется. Я бы и еще скорее набрала, да нужно тоже Пете помогать; вы знаете, как плохо в солдатах жить

без денег... Поступит в артель, и сейчас же женимся; мастерскую брошу...

И, забывая о работе, она без конца говорила о своей любви и ожидаемой жизни.

VI

Была середина июля. Пора стояла глухая, заказы в мастерскую поступали вяло. Хозяин распустил всех девушек, которые работали в мастерской меньше пяти лет; в их числе были уволены Александра Михайловна и Таня. Они поступили на кондитерскую фабрику Крымова и К°, на Васильевском Острове.

В обширных подвалах сотни девушек и женщин чистили крыжовник и вишни, перебирали клубнику, малину, абрикосы. От ягод в подвалах стоял веселый летний запах, можно было на месте есть ягоды доотвалу, и платили по шестьдесят копеек в день. Но это была временная работа, через две недели она прекратилась.

Александра Михайловна стала искать швейной работы. Она все надеялась найти дело, с которого можно будет жить. В Старо-Александровском рынке ей дали на пробу сшить полдюжины рубашек с воротом в две петли, по гривеннику за рубашку. Она заняла у Тани швейную машину, шила два дня, потратила две катушки ниток. В рынке с нею расплатились по восемь копеек за рубашку.

— Вы же по десять отдавали!—возмутилась Александра Михайловна.

Хозяин холодно ответил:

— Нет, это не подойдет. Желаете по восемь копеек,—извольте, шейте. А по десять нам не подходит.

— Подходит, не подходит, а отдавали за десять, и должны по десять заплатить!

— Василий, убери товар!—вздохнул хозяин и взялся за жестяной чайник.

Александра Михайловна, прикусив губу, в упор смотрела на веснущатое, худощавое лицо хозяина.

— Ну, прощай, разживайся с моих двенадцати копеек!

— Доброго здоровья!—лениво отозвался хозяин, отхлебывая из стакана желтый чай.

Александра Михайловна возвращалась домой по Невскому. Был Ильин день. Солнце село; в конце проспекта в золотистой дымке зари темнел адмиралтейский шпиц. Александра Михайловна вяло шла,—униженная, раздраженная. Она подсчитала: за два дня, за вычетом катушек, она заработала тридцать шесть копеек. Спускались прозрачные, душные сумерки. По панелям двигались гуляющие, коляски и пролетки с нарядными людьми проносились на Острова. Из раскрытых дверей магазинов несло прохладою, запахом закусок и фруктов; за зеркальными стеклами красовались на блюдах огромные рыбы в гарнире, паштеты, заливные. Александра Михайловна угрюмыми, волчьими глазами смотрела на все, и в душе взмывала злоба.

Навстречу медленным, раскачивающимся шагом шла девушка, поглядывая на встречных мужчин. В руках был розовый зонтик, розовая кофточка плотно облегала корсет. Алескандра Михайловна, в отрепанной юбке, с поношенным платком на голове, внимательно оглядывала ее. Глаза их встретились. Из-под наведенных черных бровей взгляд девушки с презрительным вызовом отбросил от себя полный отвращения взгляд Александры Михайловны. Александра Михайловна остановилась и долго, с пристальным, гадливым любопытством, смотрела вслед.

На углу Владимирской девушку нагнал высокий господин в цилиндре. Он близко заглянул ей в лицо и что-то сказал. Они сели вместе на извозчика и покатили по Литейному. Александра Михайловна медленно пошла дальше.

«Просто все это делается!»—с негодующею усмешкою думала она.—«Оглядели, как корову, взяли и повезли, и она спокойно едет и позволит делать с собою, что угодно. Тварь бесстыдная!..»

Александра Михайловна думала так, а сама потихоньку косилась на свое отражение в зеркальных стеклах магазинов; у нее красивое лицо, с мягкими и густыми русыми волосами, красивая фигура. Если бы затянуться в корсет, надеть изящную розовую кофточку, на нее заглядывались бы мужчины.

И одновременно два слоя мыслей шли через ее голову, как, бывает, по небу идут, не мешаясь, два слоя облаков. Одни мысли—ясные и малоподвижные—говорили, как позорно для женщины продавать первому встречному то, чего никому нельзя продавать. Другие мысли, мутные и тяжелые, быстро шли по низу, у них не было ясных очертаний, и они говорили, что все это, напротив, очень просто; у женщины есть что-то, что тянет к себе мужчин, за что они щедрее и охотнее всего дают деньги; и нужно этим пользоваться, глупо терпеть,—для чего? Отчего не продавать и этого? И можно тогда бросить мастерскую, где пахнет пылью и вареным клеем, где брошюранты говорят сальности, и ходит, рыгая, краснорожий Василий Матвеев... Александра Михайловна с тайным удовольствием прислушивалась к этим мыслям и в то же время с гадливым презрением вспоминала, как спокойно сидела в пролетке девушка, которую увозивший ее к себе незнакомый человек обнимал за талию.

Темнело. В воздухе томило, с юга медленно поднимались тучи. Легкая пыль пробегала по широкой и белой Дворцовой площади, быстро проносилась коляска, упруго прыгая на шинах. Александра Михайловна перешла Дворцовый мост, Биржевой. По берегу Малой Невы пошли бульвары. Под густою листвою пахло травою и лесом, от каналов тянуло запахом стоячей воды. В полутьме слышался сдержанный смех, стояли смутные шорохи, чуялись любовь и счастье.

На юге вспыхнула синяя, бесшумная молния. Улицы становились странно-тихими, только белая пыль изредка кружилась. Александра Михайловна присела на скамейку. Никогда раньше так страстно не хотелось ей счастья—неслыханно-большого, вольного и бурливого. Гульнуть, развернуться, так, чтоб насковозь прожгло горячим огнем и душу и тело. Чтобы вихрем вынесло ее из этой унизительной, грязной и скучной жизни. Ей казалось, теперь она начала понимать те приступы мучительной, рвущейся куда-то тоски, которая так часто охватывала Андрея Ивановича. Раньше она только недоумевала перед ними: было бы в доме тихо и мирно, хватило бы на жизнь денег,—чего ж еще? Его же этот-то тихий мир и давил. И казалось ей,—теперь и ее бы этот мир не удовлетворил. Хотелось чего-

то другого, чего,—все равно, но только чтоб подняться над этой жизнью.

Александра Михайловна воротилась домой. Был десятый час вечера. Зина спала. В душной комнате тускло горела лампа. Жена тряпичника, в рваной рубашке, сидела на постели и ругалась через перегородку с хозяйкою. Сегодня праздник; скоро воротится тряпичник, безмерно-пьяный; опять начнет она ругать его, и он, как собачонку, загонит ее под кровать и будет бить там кочергой, а когда он, наконец, устанет и заснет, она выползет из-под кровати и со стоном будет отдирать запекшуюся в крови рубашку от избитого тела... Уйти бы куда-нибудь! Александра Михайловна решила пойти к Тане.

Таня жила на том же дворе, в другом флигеле. Она выбежала на звонок,—сияющая, радостная. И вдруг глаза потухли, лицо потемнело.

Александра Михайловна сконфуженно спросила:

— Я не во-время?

— Нет... пожалуйста...—ответила Таня упавшим голосом.

В маленькой чердачной комнате, с косым потолком и окошечком сбоку, было чисто и девически-уютно. По карнизам шли красиво-вырезанные фестончики из белой бумаги, на высокой постели лежали две большие, обшитые кружевами, несмятые подушки. Подушки эти клались только на день, для красоты, а спала Таня на другой подушке, маленькой и жесткой.

За столом сидела приятельница Тани, портниха Прасковья Федоровна. На столе ворчал потухавший самовар, стояла бутылка водки, кильки и колбаса.

Таня, в черной юбке и серой шелковой кофточке, была неестественно оживлена, говорлива, и глаза ее блестели.

— Давайте, выпьем!—предложила она.—Для кого приготовлено, тот не пришел,—и не надо! Без него обойдемся!

Они выпили по рюмке и стали закусывать.

— Ты Петра Ивановича ждала?—спросила Александра Михайловна.

— Кого ждала, того нету!—засмеялась Таня, выскребая из склизкой кильки коричневые внутренности.

Потом вдруг перестала смеятья и замолчала.

— Второй уж раз что-то не приходит,—задумчиво сказала она.—И прошлое воскресенье задаром прождала. Что это—уж не знаю. Скучно что-то. Думается,—может, он так себе только, за глупостями гнался! Повозился, свое получил—и прочь...—Таня молчала, размазывая вилкою внутренности нетронутой кильки.—Не должно бы этого быть, ему сто рублей нужны, чтоб в артель внести, а в нынешнее время разве легко такую невесту найти? А только видела я недавно, шел он с одного двора, говорит,—тетка больная, а мне думается, не от Феньки ли папиросницы он шел?.. Ну, выпьем еще!—лихо предложила она и налила по второй рюмке.

Прасковья Федоровна запротивилась.

— Ну, Танечка, что ты! Больно уж скоро!

— Ничего, а то с первой чтой-то закуска в рот не идет. Рюмочки маленькие.

— Вы когда же насчет свадьбы думаете?—спросила Прасковья Федоровна.

— Думали под филипповки венчаться.

Прасковья Федоровна вздохнула:

— И наша тогда же будет.

— А вы тоже замуж выходите?—спросила ее Александра Михайловна.

— Да.

— За кого?

— За портного одного. За кого же портнихе выходить!—засмеялась она.

— Такой противный!—заметила Таня.—Хромой, нос на сторону, рожа—вот!

Она смешно скосила губы и подперла пальцем нос на сторону. Все засмеялись.

— Хороший человек?

— Не знаю, я его мало видела,—равнодушно ответила Прасковья Федоровна.

Александра Михайловна помолчала.

— Что ж вам спешить? Погодили бы, пригляделись. Знаете, другой раз бывает: поспешишь, а потом пожалеешь.

— Работать трудно,—устало произнесла Прасковья Федоровна.— Мастерская у хозяйки темная, все глаза болят. Профессор Донберг вылечил, а только сказал, чтоб больше не шить, а то ослепнешь.

— А может, и у мужа придется шить?

Прасковья Федоровна оживилась.

— Та работа легкая. Мужское платье всегда выгодно шить. А дамская работа, вы знаете, какая капризная: чтоб платье и отделка под тон были, чтоб жанр соблюсти, чтоб фасон подходил к лицу. Учительница—она требует, чтоб фасон был серьезный. Душеньке какой-нибудь—ей шик надобен.

— Бывает так: выйдешь, не подумавши, а потом другого полюбишь,—задумчиво проговорила Александра Михайловна.

Прасковья Федоровна хитро улыбнулась, скользнула взглядом в сторону, и, покраснев, искоса взглянула на Александру Михайловну.

— Да я и сейчас люблю!

И далекий отблеск глубоко-скрытого, стыдящегося чувства слабо осветил ее лицо.

— Что же за него не идете?

— Да он меня не любит.

— А он знает, что вы его любите?

— Может, и не знает... А зачем к нам не ходит? Любил бы, так ходил.

Ее худое лицо с большими черными глазами продолжало светиться, на губах легла девически-застенчивая улыбка.

— Нет, мой совет, подождали бы,—повторила Александра Михайловна.

— Теперь уж нельзя: обручальные кольца куплены... А только не дай бог, чтоб тот на обручение или на свадьбу ко мне попал,—то-то мне будет стыдно!

Прасковья Федоровна задумалась. Отблеск с ее лица исчез.

— Знаете, какие мне иногда глупости приходят в голову?—медленно проговорила она.

— Какие?

Прасковья Федоровна помолчала и удивленно раскрыла глаза.

— Зачем жить!

— Да что вы?

— Ей-богу!—с улыбкою подтвердила она.

Таня, засунув руки меж колен, блестящими от хмеля глазами смотрела вдаль.

— Ну, будет, что там!.. Скучно! — вдруг сказала она.— Давайте что-нибудь веселое делать. Эх, музыки нету, я бы потанцовала!

Она уперлась рукою в бок и заплясала, веселая и удалая, притоптывая каблуками.

— Ну, ну, пойте!—настойчиво приказывала Таня, стараясь рассеять налегавшую на всех тучу тоски.

Она кружилась, притоптывала ногами и вздергивала плечом, совсем как деревенская девка, и было смешно видеть это у ней, затянутой в корсет, с пушистою, изящною прическою. Александра Михайловна и Прасковья Федоровна подпевали и хлопали в такт ладошами. У Александры Михайловны кружилась голова. От вольных, удалых движений Тани становилось на душе вольно, и вырастали крылья, и казалось,—все пустяки, и жить на свете вовсе не так уж скучно.

— Дернем еще!—снова предложила Таня и быстро налила рюмки.

Прасковья Федоровна отказалась.

— Дернем!—лихо ответила Александра Михайловна, с влажными губами, часто и дробно смеясь.

В голове ее закружилось сильнее, становилось все веселее и вольнее; она подтоптывала Тане, хлопала в такт ладошами и подпевала: «эх!.. эх!..»

Запыхавшаяся Таня опустилась на кровать рядом с Прасковьей Федоровной и обняла ее.

— Ну, Парашенька, ты нам теперь спой!

Прасковья Федоровна, задумчиво смотревшая в окно, улыбалась.

Она стала петь.

Пела она цыганские романсы и с цыганским пошибом. Голос у нее был звучный и сильный, казалось, ему было тесно в комнате, он бился о стены, словно стараясь раздвинуть их.

Дай упиться
И насладиться
Жизнью земной
Вместе с тобой!..

Александра Михайловна сидела у окна. В раскрытое окно рвался ветер и обвевал разгоревшееся лицо. За березами палисадника теперь почти непрерывно вспыхивали бесшумные молнии. Прасковья Федоровна пела, задорно обрывала одни слова и с негою растягивала другие.

Предательский звук поцелуя
Разы-дался в ночи-ной тишине...

Песня жгла жаждою страсти и ласк. И песня эта, и шедшие из тьмы шорохи, и разогретая хмелем кровь,—все томило душу, и хотелось сладко плакать. Но тяжело лежала в душе мутная тоска и не давала подняться светлым слезам.

— Спой «Пару гнедых»,—вдруг попросила Таня.

Прасковья Федоровна улыбнулась.

— Ну, Таня, что ты? Мне плакать не хочется!

— Ну, спой! Параша, спо-ой!..—настойчиво и нетерпеливо повторила Таня.

— Вот какая... упрямая. Ну, хорошо!

Прасковья Федоровна запела. Пела она о том, какими раньше хорошими лошадьми были эти гнедые. «Ваша хозяйка в старинные годы много имела хозяев сама... Юный корнет и седой генерал,—каждый искал в ней любви и забавы»... И вот она состарилась и грязною нищенкою умирает в углу. И та же пара гнедых, теперь тощих и голодных, везет ее на кладбище.

Тихо туманное утро в столице,
По улице медленно дроги ползут...

Голос певицы вдруг оборвался, она замолчала. Александра Михайловна низко опустила голову. Мутная тоска вздымалась с

душевного дна, душили светлые слезы; и другие слезы, горькие, как полынь, подступали к горлу.

— Что это, слезы выступают! Вот смешно!—засмеялась Прасковья Федоровна, быстро утерла глаза и продолжала:

В гробе сосновом останки блудницы,
Пара гнедых еле-еле везут...
Кто ж провожает ее на кладбище?
Нет у нее ни друзей, ни... родных...

И опять голос ее оборвался. Александра Михайловна всхлипнула. Таня наклонилась над столом, сжав руками виски. И сидели они все трое и, уткнувшись в руки, ревели, не стыдясь друг друга, и каждая думала о себе...

Александра Михайловна воротилась домой поздно, пьяная и печальная. В комнате было еще душнее, пьяный тряпичник спал, раскинувшись на кровати; его жидкая бороденка уморительно торчала кверху, на лице было смешение добродушия и тупого зверства; жена его, как тень, сидела на табурете, растрепанная, почти голая и страшная; левый глаз не был виден под огромным, раздувшимся синяком, а правый горел, как уголь. По крыше барабанил крупный дождь.

Александра Михайловна подняла спавшую Зину и целовала ее, и плакала.

VII

В этом году Семидалов праздновал на успение двадцатипятилетие существования своего переплетно-брошюровочного заведения.

Накануне всех девушек заставили с обеда мыть, чистить и убирать мастерские. Они ворчали и возмущались, говорили, что они не полы мыть нанимались, да и поломойки моют полы за деньги, а их заставляют работать даром. Однако, все мыли, злые и угрюмые от унизительности работы и несправедливости.

Торжество началось молебном. Впереди стоял вместе с женою Семидалов, во фраке, с приветливым, готовым на ласку лицом. Его

окружали конторщики и мастера, а за ними толпились подмастерья и девушки. После молебна фотограф, присланный по заказу Семидалова из газетной редакции, снял на дворе общую группу, с хозяином и мастерами в центре.

Странно было видеть, как вежливо и предупредительно разговаривал теперь Семидалов с фальцовщицами,—совсем, как с дамами своего круга. Они, принаряженные, приятно улыбались и на его шутки тоже отвечали шутками. Александра Михайловна, с завитою гривкою на лбу, так же приятно улыбаясь, разговаривала с ним, как с добрым знакомым, и старалась незаметно прикрыть рукою заштопанный локоть на своей парадной кофточке.

— Ну, господа, прошу покорно закусить!—об'явил Семидалов.

Один стол был накрыт в конторе для хозяина, мастеров и конторщиков, другой—внизу для подмастерьев, третий—в брошюровочной для девушек. Фальцовщицы поднялись наверх и нерешительно толкались вокруг стола. Среди бутылок стояли на больших блюдах два огромных нарезанных пирога, кругом на тарелках пестрели закуски.

— С чем пирог-то?

— С визигой.

— Ишь, на икону всегда только водку и пиво ставят, а сегодня и наливка, и вино... И сардинки тоже.

— Это как же, сюда и детей своих можно приводить?—спросила Александра Михайловна Таню.

У стола неизвестно откуда появились дети всех возрастов и жались к своим матерям.

— Д-да... Не гонят,—ответила Таня.

— Эх, Зину я не привела, не знала!—вздохнула Александра Михайловна.

Толпа девушек всколыхнулась и подтянулась. Вошел Семидалов, в сопровождении конторщика, Василия Матвеева и газетного репортера. Матвеев поспешно налил в маленькую рюмку рябиновки и подал на тарелке хозяину. Семидалов взял рюмку, поднял ее в уровень с плечом и обратился к девушкам с речью. Василий Матвеев тем временем наливал в рюмки девушек водку и наливки. Хозяин говорил что-то чувствительное насчет их совместной работы в тече-

ние двадцати пяти лет, насчет того, что интересы его работниц всегда были ему так же дороги, как и его собственные; просил и впредь со всякою нуждою прямо и откровенно обращаться к нему. Девушки слушали и беспокойно косились на стол, высматривая закуску.

Хозяин кончил, перечокался с девушками и вышел. Вдруг как будто ветром колыхнуло девушек и бросило всех к столу. Александра Михайловна получила толчок в бок и посторонилась; стол скрылся за жадно наклоненными спинами и быстро двигавшимися локтями. Фокина со злым, решительным лицом проталкивалась из толпы, держа в руках бутылку портвейна и тарелку с тремя большими кусками пирога. Гавриловна хватала бутылку с английской горькой, Манька жадно ела сардинки из большой жестянки.

— Да полегче же, господа! Что это за безобразие!—возмущались голоса.

Полякова сердито кричала Маньке:

— Ты что все сардинки забрала? С'ела пару, и передай дальше, возьми чего другого!

Александра Михайловна, прислонившись к верстаку, изумленно смотрела. В дверях стоял старый конторщик и хохотал, глядя на свалку у стола. Снизу, пережевывая закуску, поднялись подмастерья, заглядывали в дверь и посмеивались.

К Александре Михайловне подошла Таня с двумя кусками пирога на тарелке.

— Вы что же не берете ничего?

— Я подожду, когда они возьмут,—сдержанно ответила Александра Михайловна.

Таня улыбнулась.

— Тогда вам ничего не достанется. Вот вам кусок, давайте вместе есть.

Стол опустел. Фальцовщицы, спиною друг к другу, поедали по углам добычу и оделяли ею приведенных детей.

— Это у вас всегда так?—спросила удивленная Александра Михайловна.

Таня, закусив губу, с презрением оглядывала деливших добычу девушек и смеявшихся в дверях подмастерьев.

— Тут, у девушек, всегда. В переплетной, у подмастерьев, там все честь-честью делается: выпьют, закусят, потом опять выпьют. А здесь—только моргни, все расхватают. Такие жадины, боятся, как бы кому больше не досталось. Другая тут поест, еще вниз идет, к подмастерьям. Те ее, конечно, гонят прочь: «Чего тебе тут? Вам там наверху накрыто!..»

Закуски были с'едены, напитки выпиты. Столы отодвинули в сторону, явились подмастерья. Начались танцы. Пожилые работницы уходили с детьми домой.

Александра Михайловна выпила только маленькую рюмку наливки, и ей хотелось веселиться. В большие окна смотрел туманный день и бледным светом отражался на полу. Александра Михайловна вглядывалась в давно приглядевшиеся лица девушек, и в тускло-белом, трезвом свете дня их хмельные лица казались отвратительными. Она видела, как подмастерья разговаривали и шутили с девушками, как обхватывали их и прижимали к туловищу, когда танцовали: никогда бы они так не держались с женами и дочерьми своих товарищей... Александра Михайловна вспоминала Андрея Ивановича, вспоминала высланную из Петербурга Елизавету Алексеевну и ее знакомых, и казалось ей: и она, и все кругом живут и двигаются в какой-то глубокой, темной яме; наверху брезжит свет, яркими огоньками загораются мысль, честь и гордость, а они копошатся здесь внизу, в сырой тьме, ко всему равнодушные, чуждые свету, как мокрицы.

И перед Александрой Михайловной встала гордая голова Андрея Ивановича. Как хорошо было жить тогда, как хорошо было чувствовать над собою его сильную и уверенную в себе волю...

Темнело. Переплетный подмастерье Генрихсен, толстый и усатый, отдуваясь, танцовал с Поляковой русскую. Кругом смотрели и смеялись. Снизу поднялся сильно-пьяный Ляхов. Бледный, с падающими на лоб волосами, он пошатывался на месте и выглядывал кого-то в толпе танцующих.

Александра Михайловна поспешно подошла к Тане.

— Что, Танечка, смотреть? Будет! Пойдем лучше, пройдемся.

Они вышли на улицу. Туман стал еще гуще. Как будто громадный, толстый слой сырой паутины спустился на город и опутал улицы, дома, реку. Огни фонарей светились тускло-желтыми пятнами, дышать было тяжело и сыро.

— Да, недаром покойник Андрей Иванович презирал женщин,— задумчиво сказала Александра Михайловна.—Смотрю я вот на наших девушек и думаю: верно ведь он говорил. Пойдет девушка на работу,—бесстыдная станет, водку пьет. Андрей Иванович всегда говорил: дело женщины—хозяйство, дети... И умирал, говорил мне: «Один завет тебе, Шурочка: не иди к нам в мастерскую!» Он знал, что говорил, он очень был умный человек...

Они перешли Тучков мост и свернули на бульвар Среднего проспекта. Александра Михайловна мечтательно рассказывала:

— Бывало, когда жив был, хорошо все это так было, тихо, весело... В будни дома сидишь, шьешь на девочку, на мужа. В праздник пирог спечешь, коньяку купишь; он увидит,—обрадуется.— «Вот, скажет, Шурочка, молодец! Дай, я тебя поцелую!» Коньяк он, можно сказать, обожал... Вечером вместе в Зоологический, бывало, поедем... Хорошо, Танечка, замужем жить. О деньгах не думаешь, никого не боишься, один тебе хозяин—муж. Никому в обиду тебя не даст... Вот бы тебе поскорей выйти!

— Я скоро выйду.

— Да ну?—Александра Михайловна заглянула в улыбавшееся лицо Тани.—Петра Иваныча видаешь?

— Как же! С тех пор, как, помните, вы у меня были, три раза приходил. Дура я такая, бог знает что тогда подумала. А у него вправду тетка хворала, больше ничего. Недавно даже померла, хоронил в воскресенье... Сядем здесь!

Они сели на скамейку бульвара около Шестой Линии. Окна магазинов были темны, только в мелочных лавочках светились огни. По бульвару двигалась праздничная толпа. Заморосил мелкий дождь. Туманная паутина наседала на город и становилась все гуще. Электрический фонарь на перекрестке, сияя ярким огнем, шипел и жужжал, как будто громадная голубая муха запуталась в туманной паутине и билась, не в силах вырваться.

— Август месяц теперь,—сказала Таня.—В октябре или ноябре венчаться будем, он сам сказал. Отбудет службу и сейчас же в артельщики, ему уж обещали. И сто рублей к тому времени будут готовы.

— Ну, дай тебе бог!

Таня оживилась.

— А правда, Александра Михайловна, красивый он? Всякий, кто ни посмотрит, удивляется. Из всей команды его наперед ставят на смотрах. Все девушки на него заглядываются. А он говорит: «Никого мне не надо, только тебя, говорит, одну я люблю...» И, знаете, я вам уж всю правду скажу: я беременна от него. Третий месяц... Ребеночек будет у нас. Правда, смешно?

Она не стыдилась, гордая своей любовью. Она радостно улыбалась и рассказывала без конца. На пушистых золотых волосах осели мелкие капельки дождя, от круглого лица веяло счастьем. И казалось, сквозь холодный осенний туман светится теплая, счастливая весна. Александра Михайловна расспрашивала, давала советы, и на душе ее тоже становилось тепло и чисто.

Ярко-синий огонь в фонаре шумел и жужжал, и бессильно бился, плотно охваченный мутным туманом.

— Ну, Танечка, домой пора. Пойдем!

Они встали. Мимо со смехом прошла компания из двух девушек и трех кавалеров. В темноте блеснули золотые буквы на черно-оранжевом околыше матросской фуражки.

Таня дрогнула и остановилась.

— Петька!—крикнула она, быстро повернулась и пошла догонять компанию.

Александра Михайловна стояла и ждала. Вдали, в тумане, что-то вдруг колыхнулось. Темные силуэты заметались, взмахивая руками. Александра Михайловна поспешно пошла туда.

Таня стояла, прислонясь спиною к стене дома и опустив голову, а высокая девушка в шляпе с красным пером била ее по лицу. Компания стояла в отдалении и смотрела. Девушка лихо повернулась и, гордо неся голову, пошла к своим.

— Погоди же ты, Петька,—всхлипнула Таня.

— Что-о?!

Девушка быстро воротилась к Тане и снова сильно, с размаху, стала сверху бить ее по лицу. Прохожий парень весело гаркнул:

— Бе-ей!

Собиралась толпа.

— Баба бабу!.. Ловко!—смеялись в толпе.

Девушка громко крикнула:

— Еще просишь? Просишь, что ль, еще?

Таня стояла, закрыв лицо руками.

— Дово-ольно!—всхлипнула она, втягивая носом лившуюся кровь.

Девушка пошла к компании, и они с громким смехом исчезли в тумане.

VIII

В начале сентября работа в мастерской кипела. Наступил книжный и учебный сезон, в громадном количестве шли партии учебников. Теперь кончали в десять часов вечера, мастерскую запирали на ключ и раньше никого не выпускали. Но выпадали вечера, когда делать было нечего, а девушек все-таки держали до десяти: мастера за сверхурочные часы получали по пятнадцать копеек в час, и они в это время, тайно от хозяина, работали свою частную работу,—заказ писчебумажного магазина на школьные тетради.

Был такой вечер. Девушки—злые, раздраженные—слонялись по мастерской без дела. Только Грунька Полякова, не спеша, фальцовала на угол об'явления о санатогене,—работа легкая и выгодная,—да шили книги две девушки, на-днях угостившие Матвеева мадерой.

Александра Михайловна забыла оставить дома поужинать Зине; на душе у нее кипело: девочка ляжет спать, не евши, а она тут, неизвестно для чего, сидит, сложа руки. В комнатах стоял громкий говор. За верстаками хихикала Манька, которую прижал к углу забредший снизу подмастерье Новиков. Гавриловна переругивалась с двумя молодыми брошюрантами; они хохотали на ее бесстыдные фразы и подзадоривали ее, Гавриловна делала свирепое

лицо, а в морщинистых углах черных губ дрожала самодовольная улыбка.

Александра Михайловна вошла в комнату мастера и решительно сказала.

— Василий Матвеев, давай работы! А нет работы, так отпусти: у меня ребенок дома ждет.

— Да сейчас же, сейчас привезут листы, сказано вам!—нетерпеливо-увещавающим голосом возразил Василий Матвеев.—Мужик уж час назад в типографию поехал.

— И вовсе никуда мужик не поехал! А в десять часов скажешь: «видно, задержали его, идите домой»... Отпусти... Василий Матвеев!

— Чтой-то ты, Колосова, много разговариваешь!

Он удивленно поднял на нее тусклые, косые глаза. Было в них спокойствие, и уверенное сознание силы, и нетерпеливая скука, как от привязавшейся ничтожной мухи. И противно, и жутко стало Александре Михайловне: сколько власти над ними дано этому человеку! Закусив губу она молча вышла вон.

У окна сидела Таня и, облокотившись о подоконник, задумчиво смотрела сквозь стекла на темную улицу. Александра Михайловна подсела к ней. Таня очнулась от задумчивости и привычным движением оправила пушистые волосы.

— А Фокина, ведьма, разглядела, подлая, что я беременна. Сейчас спрашивает меня: «что это ты, Танечка, словно полнеешь в талии?» Уж по всей мастерской раструбила.

— Э, наплевать!

Таня гордо встрепенулась.

— Да понятное дело, плевать! Очень нужно!..—Она замолчала и опять стала смотреть в окно.—А ко мне вчера Петя приходил, прощения просил.

— Долго собирался! Две недели целых!—усмехнулась Александра Михайловна.

— Ему стыдно было, не смел... Говорил, очень ему тогда было жалко меня, а только совестно было перед товарищами заступиться... Это Фенька-папиросница была.

— Хорош молодец! Говорит,—любит, а совестно заступиться!

— Нет, Александра Михайловна, вы так не говорите. Он хороший. Зачем вы об нем так плохо понимаете? Конечно, всем завидно,—всякой лестно такого красавца отбить. А он этой Фенькишлюхи больше и видеть не может. Только, говорит, скопишь сто рублей,—и женимся.

— А знаешь, Танечка, что мне думается? Не любит он тебя. Любил бы, не говорил бы все про деньги.

Таня тоскливо повела плечами.

— Александра Михайловна, да как же вы не понимаете? Ведь ему, правда, деньги нужны, без залога в артель не принимают. Как же жить будем?.. Хорошо еще, пока залог берут небольшой; а скоро, говорят, семьсот рублей будут требовать. Очень уж много желающих...—Она поспешно прервала себя.—Батюшки, ведь сегодня суббота! А лампадка не оправлена, не зажжена!..

Таня взобралась на верстак, перекрестилась и стала оправлять лампадку. Мимо проходил брошюрант Егорка. Он протянул руку горстью по направлению к стоявшей на цыпочках Тане, подмигнул и сделал неприличный жест. Брошюранты засмеялись. Таня оглянулась и, покраснев, быстро протянула руку, чтобы оправить юбку. Рука задела за лампадку, лампадка перекувырнулась и дугою полетела на верстак. Зазвенело разбившееся стекло, осколки посыпались на пол. Таня соскочила с верстака.

— Ах, батюшки!—в испуге вскрикнула она.

Зеленое масло, перемешанное с нагаром, пролилось на стопку ярко-раскрашенных обложек. От обгорелого фитиля расплывались пятна на девочку и собаку в зелени и на красное заглавие: «Приключения Амишки», угол высокой стопки медленно впитывал в себя грязное масло.

Василий Матвеев вышел из своей комнаты.

— Что случилось?—Он подошел к верстаку, взглянул на залитую стопку и строго нахмурился.—Кто это сделал?

Таня ответила:

— Я.

— Та-ак...—Василий Матвеев стал перебирать стопку и вздохнул.—Придется перепечатывать тебе! Вот, пятьсот штук залила!

Таня обомлела.

— Сколько же это будет стоить?

— В восемь красок печатана. Рублей пятьдесят заплатишь... Пойти, хозяину показать.

Он лениво пошел назад в свою комнату. Дарья Петровна испуганно зашептала:

— Пойди, поговори с ним! Может, что можно сделать, хозяин не узнает... А скажет,—готово дело, придется тебе на свой счет печатать.

— И вправду, иди скорей!—сказал Фокина.

Дарья Петровна в ужасе качала головою.

— Пятьдесят рублей,—что же это, господи!

Таня с испуганным, растерянным лицом пошла к мастеру. Через две минуты она воротилась. Бледная, с большими, сразу впавшими глазами, она припала к верстаку и зарыдала.

— Что он сказал тебе?—спрашивала Александра Михайловна.

— Подлец, негодяй грязный!... Негодяй, негодяй, негодяй!..

— Да что он сказал-то тебе?

— Могу, говорит, сделать, что хозяин ничего не узнает!.. Ос-о!.. Мерзавцы подлые!..

Таня быстро подняла голову, глаза блеснули. Громко и раздельно она сказала:

— Поедем, говорит... в баню с тобой!—И, зарыдав, она припала грудью к верстаку.

— В баню, говорит, поедем!—передала Александра Михайловна окружающим. Бешеная злоба сдавила ей дыхание. Хотелось, чтобы кто нибудь громко, исступленно крикнул: «Девушки, да докуда же мы будем терпеть?!»—И чтоб всем вбежать к Матвееву, повалить его и бить, бить эту поганую тушу ногами, стульями, топтать каблуками... Дарья Петровна с сожалением смотрела на Таню, глаза Фокиной мрачно горели.

Таня рыдала, не глядя на окружающих. Гавриловна цинично усмехнулась и махнула рукою.

— Э, ступай, чего там! Тоже, подумаешь... Авось, не лужа, останется и для мужа.

Вошел Василий Матвеев, красный, с злыми глазами.

— Ты что тут на меня врешь?—злобно обратился он к Тане.

Таня, прижимая руки к груди, в упор смотрела на Матвеева.

— Подлец ты, подлец, Василий Матвеев!

— Вам что тут нужно, чего толчетесь?—крикнул Матвеев на девушек.—Ступай, берись за работу! Что за беспорядок!

Фокина грубо спросила:

— За какую работу-то браться?

— Аль все нету еще? Ну, значит, не готовы листы в типографии. Можно шабашить.

Девушки стали расходиться. Таня рыдала, припав к верстаку. Александра Михайловна положила руку на ее плечо.

— Ну, Таня, будет! Что уж так убиваться! Ведь прибавил, небось, мастер. Ну, двадцать пять, тридцать рублей вычтут, работаешь ты хорошо, скоро наверстаешь.

Таня в тоске заломила руки.

— Александра Михайловна, милая! Мне спешить нужно! Еще год пройдет,—не женится на мне Петя. Ребенок у меня скоро будет, а он легкий сердцем, закрутят его. Другую невесту найдет с приданым. За такого всякая пойдет. Теперь не женится,—бросит...

Она замолчала, широко раскрытыми, красными и опухшими глазами глядя перед собою.

— У-у, подлец грязный!—с отвращением всхлипнула она, и трепет пробежал по ее телу.

И она продолжала неподвижно смотреть перед собою. И вдруг подняла на Александру Михайловну свое распухшее, жалкое лицо.

— Скучно мне, Александра Михайловна... Милая!.. Так скучно!..—ломающимся от слез голосом воскликнула она и схватилась за руку Александры Михайловны,—крепко, как будто стараясь удержаться за нее.

Задыхаясь, Александра Михайловна заговорила:

— Таня, слушай! Не бойся, я тебе все устрою!.. Не бойся, иди домой, вот увидишь, все выйдет по-хорошему... Я к тебе нынче же приду, жди меня, слышишь?.. Вот увидишь, как все будет хорошо... Не бойся!—радостно повторяла она.

Александра Михайловна вышла в прихожую и поспешно оделась. Внизу слышен был говор спускавшихся по лестнице девушек. Александра Михайловна догнала их.

— Девушки, слушайте!—одушевленно заговорила она.—Давайте, соберем меж собой деньги и поможем Тане!

Дарья Петровна растерянно взглянула на нее и смешалась.

— Правда, девушки!—убеждала Александра Михайловна.— Ну, что стоит! По рублю, по два всякая может дать. Не помрем с голоду из-за рубля. А ей помощь будет... Все над Ваською Матвеевым посмеемся.

Фокина, покручивая головою, молча смотрела в глаза Александре Михайловне и вдруг громко расхохоталась.

— Ловко придумала!.. У меня вот пятеро ребят,—нужно их накормить, ай нет?.. Выдумала... Очень нужно!

Другая девушка враждебно возразила:

— Рубль! Для бедного человека рубль много значит, если он нужен.

— Ничего, пускай с'ездит в баньку, попарится с мастером! За баню не платить, все экономия!—сказала Гавриловна и хрипло засмеялась.

IX

Александра Михайловна возвращалась домой с Дарьей Петровной. Ее поразило: не только никто не откликнулся на ее призыв, а, напротив, после первого взрыва возмущения, явилась даже как-будто вражда к Тане. Никто даже не обрезал Гавриловну за ее гнусные слова. За что все это?.. Возбуждение Александры Михайловны сменилось усталостью, на душе было обычное тупое отвращение ко всему.

Дарья Петровна угодливо заглядывала Александре Михайловне в глаза и своим смиренным голосом говорила:

— Знаете, где ж у нас что собрать. Ведь сами все вроде как бы нищие живут. А у ней вон, у Танечки, говорят, не одна уж десятка припасена.

Александра Михайловна молчала. Они проходили по Большому проспекту мимо трактира.

— Зайдем, выпьем полбутылочки,—предложила Дарья Петровна, как-будто стараясь чем-нибудь загладить свой отказ.

— Нет, мне домой пора, девочка ждет! Она сегодня еще не ужинавши.

— Вы не стесняйтесь! У меня сейчас деньги есть, другой раз вы меня угостите. А девочка все равно уж заснула.

Александра Михайловна колебалась: домой итти,—придется зайти к Тане. А что она ей теперь скажет?.. Александра Михайловна согласилась.

Они вошли в трактир; Александра Михайловна прошла в заднюю комнату, конфузливо опустив лицо. Подали водку. Они выпили по рюмке.

Наверху ухал и гудел орган. Около окна сидел стройный студент-медик и читал «Стрекозу». Полная, высокая девушка в пышной шляпе пила за соседним столом пиво и громко переговаривалась через комнату с другою девушкою, сидевшею у печки.

Дарья Петровна налила рюмки. Они снова выпили. Александра Михайловна вздохнула.

— Эх, жалко мне Таню!

Дарья Петровна подняла на нее глаза и улыбнулась медленною, загадочною улыбкою.

— Ничего-то вы, Александра Михайловна, не знаете, ничего не понимаете! Знаете, я вам по секрету скажу: рано, поздно, все равно не миновать Танечке косоглазого... Поглядите сами, разве с нашей работы можно честно прожить? Не она первая, не она последняя.

Александра Михайловна широко раскрыла глаза. Дарья Петровна продолжала.

— Я вам всю правду скажу: все так делают. Ведь Василий Матвеев у нас все равно, что хозяин, сами знаете. Хочет—даст жить, не хочет—изморит работою, а получишь грош. И везде так, везде мастеру над девушками власть дана. А есть-то всякой хочется. Ведь человек для того и живет, чтоб ему полегче было. Поступит девушка,—

ну, сначала, конечно, бодается, пока сил хватает, а потом и уступит. Что ж делать, если свет нынче стал такой нехороший?

Дарья Петровна снова наполнила рюмки и выпила свою. Александра Михайловна, не шевелясь, смотрела на нее.

— Хорошо вот, вы такая гордая, настойчивая,—льстиво говорила Дарья Петровна.—А много ли у нас таких? Грунька Полякова, сами знаете, и сейчас живет с ним. Маньку два раза к себе увозил. С Гавриловной когда-то год целый жил. А Фокина вот,—на что уж непоклонная, а сколько раз к нему хаживала, как помоложе была... Я вам правду скажу: которая девушка замужняя или помогу имеет со стороны, ну, та может куражиться. А нет помоги, что ж поделаешь? Воп у Фокиной пятеро ребят, всех одень-обуй; как тут куражиться?

— И вы, вы тоже уступали ему?!

— Я... я-то?.. Я-то нет... Зачем я ему буду уступать?

— Господи, и как не стыдно!—Александра Михайловна глядела ей в глаза и качала головою.

Дарья Петровна хмелела. В ее смиренных глазах мелькнули ненависть и вызов.

— Что ж—«стыдно»? Со стыдом, милая, сыта не будешь!.. Еще поглядим, как другие-то всякие себя соблюдут.

Новое что-то, широкое и страшное, раскрывалось перед Александрой Михайловной. Так вот оно что! Вот отчего все были так странно равнодушны, когда она сообщала о приставаниях к ней мастера, вот почему была словно тайная радость, когда Таня попала в беду.

Они замолчали. Александра Михайловна залпом выпила свою рюмку. В голове шумело, перед глазами было смиренное, желто-бледное, ничего не выражающее лицо Дарьи Петровны. И жутко было это отсутствие выражения после того, что он сейчас говорила.

Наверху попрежнему ухал и звенел орган. Полная девушка в пышной шляпе переговаривалась с нарумяненной девушкою, сидевшею у печки.

— Ты вчера имениннica была?—спрашивала нарумяненная девушка.

— Нет, меня вправду Матреной звать, а не Лизаветой. А это я студента одного надула, чтоб подарок мне сделал. Я двенадцать раз в году именинницей бываю: и на Веру-Надежду-Любовь, и на Катерину, и на Зинаиду, и на Наталью .. Вот подвязки подарил; говорит, три рубля отдал. Врет, конечно, не больше полутора заплатил.

Полная девушка, не стесняясь, подняла юбку выше колена и показала новые ярко-красные подвязки.

Она говорила громким, немного сиплым голосом, с веселою улыбкою, и видно было, что говорит она не для подруги, а для студента.

Студент опустил «Стрекозу» и посмотрел на девушку. Она спросила его:

— Правда, яркие?

Дарья Петровна зашептала:

— Это Матрешка Грушева, тоже в нашей мастерской была. Как бы не узнала. Такая бесстыдная, нахальная. Заговорит при всех, оконфузит перед людями.

— Вот, студенты-медики! Такой это народ—ничего не боятся!— сказала полная девушка, обращаясь к подруге.—В воскресенье ночевала я у одного на Введенской улице; проснулась ночью, хвать— прямо рукою за *стелет* зацепила! Кости сухие висят, щелкают,— такие страсти! И спят себе, не боятся ничего. То-то живодеры!.. И шутки тоже любят шутить. Намедни идем мы три девки, все пьяные вдрызг, «мама» сказать не можем. Взяли нас студенты, повезли куда-то. Пьяна я была, ничего не помню, не знаю, что они с нами делали. Только проснулась, вижу—холодный кто-то рядом. Зажгла спичку,— мертвец!.. В анатомический завезли нас, подлецы! Кожа содрана, руки скрючены. У меня весь хмель соскочил. Нам бы три ступеньки вверх подняться, они все там были, а мы—вниз, да поскорее домой. Не знаю, как добралась, рукав весь в крови испачкан, карбовкой пахнет.

Она оглядела всех, медленно улыбаясь. Дарья Петровна поспешно наклонилась лицом над скатертью. Александра Михайловна слушала с пристальным детским любопытством, стыдясь и удивляясь, как

она все это может рассказывать. Девушка подметила выражение ее взгляда, увидела бедную, отрепанную одежду соседок и продолжала, рисуясь своим бесстыдством.

— А все-таки люблю студентов,—хороший народ, правильный! Не то, что купцы,—те все жулики. Намедни гуляю по пришпехту, важный купец подошел,—в котелке, пальто шевиотовое. Приехал со мною ко мне, полбутылки коньяку спросил в два рубля, лимонаду. Ну, думаю, не иначе, как он мне двадцать пять рублей за ночь заплатит. Легли спать. Вижу, хороший человек, подвалилась ему под бочок и заснула. Он потихоньку встал, оделся и удрал. Слышу, дверь хлопнула. Вскочила,—как бежать за ним? Я совсем голая! Люблю, говорит, чтоб девушка со мной голая спала... Так и удрал, ничего не заплативши. И за коньяк самой пришлось отдать деньги... Ну, да я ему еще отплачу! Кислоты на двадцать копеек куплю, пойду гулять, встренусь,—я его сразу узнаю,—да сзади потихоньку все пальто ему и оболью. В пятьдесят рублей ему моя ночка встанет.

Студент положил газету на колени и слушал, слегка улыбаясь. Он был красивый и стройный, с мягкою русою бородкою.

Девушка оправила пунцовый бантик на полной, белой шее и вздохнула.

— До чего я толстею! Запонка не сходится, пришлось на самый край перешить пуговку... Вот Лелька, та сухая, как кошка; идет гулять, за корсет полотенце запихивает. А мне этого не надо, у меня все свое, натуральное...

Девушка медленно взглянула на студента.

— Вот в кого бы я влюбилась! Какой хорошенький,—прелесть!.. Мужчина, пойдем со мной!—вполголоса прибавила она.

Студент сердито нахмурился и молча взялся за журнал.

Она пересела к его столу и переставила туда же свою бутылку с пивом. Бутылка студента была уже пуста.

— Я только сегодня в бане была, чистенькая!—сказала девушка и налила из своей бутылки пиво в стакан студента.

Студент возмутился.

— Не надо, зачем вы мне наливаете?

— Это моя бутылка, я плачу,—успокоила его девушка.

Студент выпил и, чтоб отплатить, спросил еще бутылку. Девушка отказалась.

— Нет, больше не стану пить! Я уж с семи часов по кабакам. Еще много придется, будет!.. Ну, цыпочка, вставай, пойдем вместе.

— Не пойду я! — сердито ответил студент, сконфуженно косясь по сторонам.

Девушка расплатилась и медленно, качающеюся походкою вышла, сверкнув в дверях яркою шляпкою. Студент посидел, поспешно встал и тоже вышел.

— Шкура подлая!—с ненавистью и отвращением сказала Дарья Петровна.

Александра Михайловна, пораженная, молчала. Никогда она раньше не думала, чтоб все это делалось так бесстыдно и открыто. И именно в этом дерзком, вызывающем бесстыдстве было что-то странно-привлекательное. Она смотрела на желто-бледное, иссохшее в работе лицо Дарьи Петровны и сравнивала его с полным, веселым лицом ушедшей девушки. Дарья Петровна презирает ее, а за что? Все они точно так же из расчета отдаются мужчинам, а хотят казаться честными, зато сохнут и надрываются в скучной мастерской, а та смелая, ничего не боится и не стыдится! Ушла из мастерской, и вот живет в бесшабашно-веселом, ярком мире, шикарною, изящно одетою.

Александра Михайловна возвращалась домой. В голове шумело, и в этом шуме подплывали к сознанию уже знакомые ей, уродливые, самое ее пугавшие мысли. Может быть, потому, что молодой человек, с которым ушла девушка, был красив, и в Александре Михайловне проснулась женщина, но на душе было грустно и одиноко. И она думала: проходит ее молодость, гибнет напрасно красота. Кому польза, что она идет честным путем?..

И вдруг смутные, робко касавшиеся сознания мысли плавным порывом ворвались в сознание, слились в яркую, смелую и радостную от своей смелости мысль: да! на все наплевать, глупо быть честною! Для чего это надо дорожить собою, видеть в себе что-то важное, особенное, чему словно и цены нет? Ведь все это так просто, так удивительно просто и ясно! Не видеть постылой мастерской, жить вольно

и красиво, пить вкусный и дорогой коньяк, давать обнимать себя красивым молодым студентам. И день весь будет свободный, Зина не будет бегать без призора и ложиться спать голодною... Что в этом плохого?

Было поздно. По пустынному проспекту изредка проходили накрашенные, разодетые женщины. Их темные фигуры медленно появлялись из мрака. При отблеске газовых фонарей грубые румяна казались веселым румянцем, сами женщины были прекрасны в своей таинственности и в смелом презрении своем к людскому мнению. Александра Михайловна с тайным замиранием долго ходила по проспекту и широкими, детски-любопытствующими глазами провожала каждую женщину: да, они поняли, что все это просто и естественно, и не побоялись пойти на это. И теперь они казались Александре Михайловне близкими и родными.

X

В виду спешной работы в мастерской работали и в воскресенье до часу дня. У Александры Михайловны с похмелья болела голова, ее тошнило, и все кругом казалось еще серее, еще отвратительнее, чем всегда. Таня не пришла. У Александры Михайловны щемило на душе, что и сегодня утром, до работы, она не проведала Таню: проспала, трещала голова, и нужно было спешить в мастерскую, пока не заперли дверей. Александра Михайловна решила зайти к Тане после обеда.

Кругом стояло обычное шуршание свертываемых листов, спины девушек однообразно сгибались и разгибались. Василий Матвеев возился около обрезной машины, обрезывал какие-то яркие обложки и, обрезав, тщательно осматривал каждую. Александра Михайловна, вся полная воспоминанием о вчерашних признаниях Дарьи Петровны, с необычным чувством, как прозревшая, осматривалась вокруг. Меж двигавшихся голов девушек мелькали жирные плечи и короткая шея Василия Матвеева. И у него, и у них всех были такие буднично-спокойные, ничего не выражавшие лица!.. Как-будто вовсе и не лежало между ними той ужасной, грязной тайны, о которой вчера

узнала Александра Михайловна, или как-будто эта тайна была чем-то совсем обычным, что не может ни давить, ни мучить.

Выходя в час из мастерской, Александра Михайловна слышала, как хозяин кричал в конторе на Василия Матвеева, а тот суетился, разводил руками и что-то об'яснял Семидалову.

Под вечер Александра Михайловна сидела у себя и шила. Вошла Дарья Петровна.

— А-а.. Здравствуйте!—Александра Михайловна приветливо поднялась.—Садитесь, пожалуйста!.. Чайку позволите?

— Нет, нет, не трудитесь! Я к вам только на одну минуточку, спросить хотела: где вы бумазею покупали к той вон кофточке, в которой на празднике были?

Александра Михайловна сказала.

— Благодарю вас. Очень уж мне рисунок приглянулся. Ну, прощайте! Я спешу.—Дарья Петровна помолчала.—А Танечка-то наша, слыхали?—вздохнула она.

Александра Михайловна встрепенулась.

— Что?

— Ведь пошла... к Ваське-то Матвееву.

— Не мо-ожет быть!

У Александры Михайловны опустились руки, и она медленно села на кровать.

— Верно. Девушки видели... И как ловко он с обложками обернулся! Какие по краям были залиты, обрезал покороче, и стали, как новые; а которые больше были залиты, пустил в обрезки, хозяину сказал, что из типографии двух сотен не дослали. Хозяин раскричался: «Как же вы не сосчитали?»—«Я, говорит, считал, да вы меня позвали; а воротился,—мужик типографский уж уехал»... Жалко Танечку нашу, правда?

Она вздохнула, а желтое, смиренное лицо светилось тайной радостью.

—Господи, господи, что же это такое!—сказала Александра Михайловна.—То-то я сегодня утром шла, смотрю, как-будто на той стороне Таня идет; кутает лицо платком, отвертывается... Нет, думаю, не она. А выходит, к нему шла... И какой со мною грех случился!—

стала она оправдываться перед собою.—Хотела к ней утром зайти, не поспела, девочка задержала. А после работы зашла, уж не было ее дома...

Дарья Петровна ушла. Александра Михайловна села к окну и задумчиво уставилась на темневший двор.

«Жалко Танечку»,—думала она. Но жалость была больше в мыслях. В душе с жалостью мешалось брезгливое презрение к Тане. Нет, она, Александра Михайловна,—она не пошла бы не только из-за пятидесяти рублей, а и с голоду бы помирала... Гадость какая! Она—честная, непродажная. И от этой мысли у нее было приятное ощущение чистоты, как-будто она только-что воротилась из бани. Не легкое это дело остаться честной, а она вот сохранила себя, и всегда сохранит.

Пришел Лестман. Он пил чай и застенчиво крутил редкую бородку, а Александра Михайловна, вздыхая, рассказывала ему о происшествии с Таней. Ругала Василия Матвеева, жалела Таню, и около губ чуть заметно играла скромно гордая-улыбка.

XI

— Я... я знаю... Господи, что же это?.. Пустите!.. Я знаю!—задыхаясь, твердила Александра Михайловна и с смертельно-бледным лицом проталкивалась сквозь толпу.—Городовой, это девушка одна... Я знаю!.. О, господи!..

Она уже минуты три стояла в толпе, теснившейся на набережной. За краем гранитного спуска медленно плескались длинные зеленоватые волны, утреннее солнце глубоко освещало их и делало прозрачными, и на этом зеленоватом, плещущем фоне неподвижно рисовалось лежавшее на плитах тело девушки. Мокро-тяжелая черная юбка плотно облегала вытянутые ноги. Острые концы ботинок торчали в стороны. Александра Михайловна подалась вперед, чтоб разглядеть лицо, и с смутно-жалостливым, жадным любопытством смотрела: широкий, чистый лоб; от угла рта по синеватой щеке тянулась струйка пенисто-темной жидкости. Вдруг серая шелковая коф-

точка на выступе груди показалась странно-знакомою. Потом, вызывая недоумение, стали знакомыми округлость щеки, намокшие рыжеватые волосы. И загадочно-неизвестное, чуждое лицо утопленницы вдруг превратилось в знакомое лицо Тани.

— Городовой, я знаю... Господи, господи!..—повторяла Александра Михайловна.—Это девушка одна, Капитанова фамилия... Татьяна... О, боже, что же это?

Городовой вынув книжечку, записывал имя утопленницы и адрес Александры Михайловны, толпа приставала к Александре Михайловне с расспросами, а она, всхлипывая, повторяла: «Господи, господи!» и, не отрываясь, смотрела на Таню. Все в ней было близко-знакомо и все—страшно, необычно, скрытно-чуждо. Вся она была пропитана тайно принятым вчера позором и одиночным ужасом пошедшей на самоуничтожение жизни.

И она лежала на мостовой, неподвижная, жалкая и загаженная. Мокрая юбка плотно облегала раздвинутые ноги, в этом было что-то особенно жалкое и беззащитное. Хотелось наклониться, оправить юбку, скрыть выставленные под чужие взгляды ноги. А за гранитным спуском все плескались прозрачно-зеленоватые, длинные волны, и от них веяло сырым запахом водорослей.

Труп увезли. Александру Михайловну пригласили в участок, там еще раз записали все. Она вышла на улицу. Давно было пора итти в мастерскую, но Александра Михайловна забыла про нее. Она шла, и в ее глазах плескались зеленоватые, пахнувшие водорослями волны, и темно-пенистая струйка тянулась по круглой щеке.

Было яркое сентябрьской утро. Солнце золотым светом заливало дома, магазины и конки. На теневой стороне улиц, вдоль высоких домов, стояла туманно-синяя дымка. Дворники в фиолетовых фуфайках мели улицы, по панелям шли люди с равнодушными, не знающими случившегося лицами, они не только не знали о случившемся, они как-будто не знали и того, как страшна жизнь, и как беспомощны против нее люди.

И опять перед Александрой Михайловной плескались прозрачно-зеленоватые волны, и Таня лежала с плоскими, слипшимися на синеватом лбу волосами. Александра Михайловна вспомнила

как месяц назад на этих волосах, тогда живых и пушистых, дрожали капельки осеннего дождя, и они золотистым сиянием окружали круглое, весенне-счастливое лицо Тани. Она была горда своею любовью и вызывающею непреклонностью,—пришла жизнь, подстерегла и сломила непреклонность, гнусно загадила любовь, загадила и измяла все. И так со всеми ими—с девушками, с женщинами: за то, чтоб жить, мало отдавать труд и здоровье: у них есть еще то, до чего жизнь жестоко жадна, и она не отступит, пока не возьмет и этого, пока в ее пахнущую кровью мясную лавочку смирившаяся женщина не принесет и своего мяса. А не смирится, будет стараться оставить своей душе ее дорогое и свое,—то не будет ей пощады, и кругом станет пустыня, где медленно умирают с голоду, и крик отчаяния замирает без ответа.

Александра Михайловна вдруг почувствовала, что ведь и сама она давно уже находится в такой пустыне, что она беспомощно бродит по ней, а жизнь немигающим, злым, как у индюшки, глазом следит за нею и ждет. Встал перед нею Ляхов с тупо-беспощадным, жадным до нее лицом, встал Лестман с проползающим в белесых глазах осторожным ожиданием, Василий Матвеев с косящими глазами, у которых нельзя поймать взгляда... Все это сливалось в один беспощадно-похотливый глаз, и мимо проносились девушки-работницы в отрепанных юбках, выплывавшие из мглы проспекта женщины с накрашенными лицами, плачущая над песней о гнедых Прасковья Федоровна и Таня с синеватым лицом, с ногами, плотно охваченными мокрою юбкою... И казалось Александре Михайловне: вот-вот подхватит ее, и унесет, и замешает в этот поток опозоренных, продавшихся за право жизни женских тел.

Она вышла к набережной. Широкая синяя река лениво и равнодушно плескалась под солнцем, забыв, что сделала сегодня ночью. И так же равнодушно смотрели ряды каменных громад, сверкавшие за рекою в голубом тумане. Александра Михайловна села на скамейку. Ею овладела смертельная усталость. Сгорбившись, с опустившимися плечами, она тупо смотрела вдаль. На что ей надеяться? Мрачно и пусто было впереди, и безысходный ужас был в этой пустоте.

«А зачем было так плохо поминать и Лестмана?»—вдруг мелькнуло у ней в голове.

И осторожно, стараясь не натолкнуться в мыслях на возражения, Александра Михайловна продолжала думать: «Он не то, что другие; за нехорошим он не гонится, все хочет сделать по-честному».

XII

В десятых числах ноября на Васильевском Острове, в одной из квартирок огромного, грязного дома за Малым проспектом, шел свадебный пир. Гармоника играла кадриль, стол был заставлен пивными бутылками и бутербродами, в воздухе стоял русский, немецкий и эстонский говор. Александра Михайловна, с завитою гривкою на лбу и в корсете, танцовала со своим шафером, переплетным подмастерьем Генрихсеном. За два месяца, как она не работала в мастерской, она сильно располнела, особенно в нижней части лица, синие глаза смотрели спокойно и довольно.

Александра Михайловна говорила Генрихсену:

— Он смирный, трезвый. О девочке моей обещает заботиться. А в мастерской оставаться было невозможно: мастер притесняет, девушки, сами знаете, какие. Житья нет женщине, которая честная. Мне еще покойник Андрей Иванович говорил, предупреждал, чтоб не итти туда. И, правда, сама увидела я: там работать—значит потерять себя.

— Ну, да, ка-анешна! Ну, да!—соглашался толстяк Генрихсен и, ухватив Александру Михайловну за талию, устремлялся навстречу визави.

В голове у Александры Михайловны кружилось от выпитого пива. Она смотрела, как толстый Генрихсен, отдуваясь, вытанцовывал соло, и вспомнила, как он, так же отдуваясь, танцовал на празднике иконы русскую. Вспоминалась ей грязь и позор мастерской, вспоминались бурливо, как в самоваре, кипевшие в мозгу думы о жизни и порывы к борьбе с нею. Тихое спокойствие охватывало душу и радость, что не нужно больше дум и борьбы. Вставали лица де-

вушек-подруг, на сердце шевелилось брезгливое презрение к ним, и Александра Михайловна с гордостью думала: «Кто захочет, у кого есть в душе совесть, та всегда останется честною».

Кадриль кончилась. К Александре Михайловне подсел Лестман, в белом галстуке и шершавом черном сюртуке. Громадные руки торчали из коротких рукавов. Он обнимал Александру Михайловну за плечи, заглядывая в лицо.

— Сурочка, как я тебя люблю!—в пьяном восторге твердил он, и жмурился, и в сотый раз лез целоваться.

1903

В СТЕПИ

I

Пассажирский поезд остановился у маленькой степной станции. Солнце жгло, было жарко и душно. Немногочисленные пассажиры вяло переговаривались или дремали, закутав головы от мух.

Дали второй звонок.

Под окнами вагонов, на стороне, противоположной к станции, медленно прошли по шпалам два загорелых мужика. Один из них, с большою, лохматою головою, имел за спиною холщевый узел, а на плече держал косье с привязанной к нему косой; другой мужик, громадного роста и широкоплечий, хромал на левую ногу; у него не было ни узла, ни косы, и через плечо был перекинут только дырявый зипун.

Мужики шли вороватою походкою, исподлобья посматривали на поезд и словно хоронились от кого-то. Вдруг хромой мужик остановился, быстро огляделся по сторонам и полез по ступенькам на площадку вагона. Следом за ним хотел лезть и его спутник. Он уже ухватился за столб перил, но в это время из окна вагона выглянул кондуктор. Лохматый мужик крякнул, поправил узел за плечами и пошел вдоль поезда. Кондуктор следил за ним пристальным взглядом. Мужик шел по шпалам все дальше и уже оставил за собою последний вагон. Раздался третий звонок, поезд тронулся. Вдруг мужик быстро повернулся, встряхнул узлом и бросился догонять поезд.

— Я-а тебе! Я-а тебе!—угрожающе крикнул кондуктор, высунувшись из окна и грозя пальцем.

Поезд все прибавлял ходу. Мужик, ожесточенно нахмурившись и не глядя на кондуктора, продолжал бежать, вскидывая в стороны худые, стянутые в онучи ноги. Из окон выглядывали пассажиры.

— Ну, ну, землячок!.. Ну!.. Эх, не догонит!—волновался парень в серой блузе.

— Не догонит!

— Куда уж догнать! Не догонит теперь!

— Догонит, ей-богу, догонит!—крикнул парень.—Ну, ну, земляк! А-а, те-те-те!..

Мужик добежал до заднего вагона и, цепляясь за перила, вскочил на ступеньку; узел потянул его назад,—мужик взмахнул рукою и чуть не сорвался, но устоял.

Кондуктор бросился на площадку. Пассажирам не было его видно. Они видели только, как мужик, стоя на нижней ступеньке, что-то говорил, угрюмо глядя вниз, потом махнул рукою и спрыгнул обратно с быстро шедшего поезда.

В вагон вошел хромой мужик, ускользнувший от глаз кондуктора. Он высунулся из окна и долго смотрел назад, где в пыли, поднятой поездом, исчезал его товарищ.

— Земляк, что ли, будет тебе?—сочувственно спросил парень в блузе.

— Земляк,—пробурчал мужик, не глядя на парня, и сел.

В дыры его грязной холщевой рубахи глядело бронзовое тело, лицо было почти черное от загара. Огромный и оборванный, с обмотанною тряпками ногою, он блестел белками злых глаз и исподлобья поглядывал вокруг. Парень подсел к нему с разговором. Мужик порывисто встал и, не отвечая, высунулся из окна.

Вошел молодой кондуктор в белом кителе.

— Господа, кто с Мандрыковки садился, билеты позвольте!.. Билет твой!—вдруг быстро обратился он к хромому мужику.

— Нету билета.

Кондуктор молча развел руками.

— Ну, вот, что ты тут с ними будешь делать?.. Господа! Да ведь невозможно!—усталым, усовещивающим голосом заговорил он.— Ведь мы подначальные люди, мы не можем даром народ возить! С нас за это взыскивают... Как остановка будет, пожалуйста, слезай! Честью тебя прошу!

Для поездной прислуги стояло тяжелое время. Из «России» нахлынули в степь бесчисленные массы косарей. Между тем солнце выжгло траву, сенокос на всем протяжении степи не состоялся. Отощавшие и обносившиеся, косари скитались по выжженной степи, плелись по бесконечным тропинкам вдоль полотна дороги. Одни возвращались назад, другие шли дальше, на Черноморье и Кубань. Они потеряли всякий страх: стоило кондукторам зазеваться, и в поезде немедленно оказывалось несколько десятков безбилетных «зайцев». Практика давно уже выработала такой образ действий: кондукторы зорко следят на станциях за приближающимся косарем и энергично отражают его попытки проникнуть в поезд; но раз он уж очутился в вагоне, на него машут рукою и, без всяких тасканий к начальству просто высаживают на следующей станции: все равно, взятки с него гладки.

Поезд дал свисток и начал замедлять ход. Хромой косарь поспешно встал, захватил свой зипун и перешел в соседний вагон; там он сел на лавочку за дверью. Поезд остановился.

Через вагон прошел кондуктор и увидел косаря.

— Ты не сошел?!—изумился кондуктор.

Косарь поднялся.

— Да куда же я пойду? У меня ноги больные!—ожесточенно воскликнул он, глядя на кондуктора, как затравленный волк.

— Ах-х, ты, господи!..—Кондуктор замолчал и оглядывал его с ног до головы.—Я тебе говорил, как человеку, а теперь что же? Я должен бить тебя по шее!

— Смилуйтесь, господин кондуктор!

— Ступай ты, ради бога! Пойми, мы не можем даром возить народ... Ведь вот человек!

Он взял косаря за рукав, вывел на площадку и заставил слезть.

Залихватски закатился кондукторский свисток, ему в ответ рявкнул паровоз, далеко впереди пискнул рожок стрелочника, поезд дрогнул и двинулся.

II

На станции стихло.

Косарь напился из кадушки теплой воды и пошел в степь: около линии нечего было рассчитывать ни на работу, ни на милостыню. Дорога вилась вдаль слабыми, ленивыми извивами. Кругом до самого горизонта тянулась степь и степь,—ровная, неподвижная, залитая горячим солнцем. Трава была мелкая и редкая, повсюду серели большие плешины голой, выжженной солнцем земли. Ветер слабо дул с запада, шелестя травой; с ветром несся издалека тонкий, нежный запах свежего сена, но запах шел не от рядов и копен, а от травы, на корню сохшей под жгучим солнцем.

Косарь шел, хромая, и тяжело опирался на палку. Солнце било в лицо, во рту пересохло, на зубах скрипела пыль; в груди злобно запеклось что-то тяжелое и горячее. Шел час, другой, третий... Дороге не было конца, в стороны тянулась та же серая, безлюдная степь. А на горизонте слабо зеленели густые леса, блестела вода; дунет ветер,—призрачные леса колеблются и тают в воздухе, вода исчезает.

Около дороги, на рубеже, стояла каменная баба. Косарь сел к ее подножию. В ушах звенело и со звоном проходило по голове, в глазах мутилось от жары и голода. Больная ступня ныла, и тупая боль ползла от нее через колено в пах.

Вокруг было просторно и пусто. Только далеко на дороге чернела фигура идущего человека. В блещущей синеве неба парил коршун, потревоженные овражки перекликались между собою из-под земли отрывочным, звенящим свистом. Каменная баба в колпаке,—серая, поросшая зеленоватым мохом,—сгорбившись, смотрела в степь с злым, как-будто живым лицом; нижняя часть лица была пухлая и обрюзгшая, руками она держалась за живот, и казалось, что она кисло морщится от боли в пустом желудке. Косарь охватил руками колени и застыл, глядя вдаль воспаленными, красными глазами.

— Цс-сык! Цс-сык! Цс-сык!—явственно звучало вокруг, как-будто десятки кос дружно резали густую, сочную траву. По небу молнией проносились невидано-громадные, черные птицы, и путник с трудом соображал, что это—увивающиеся вокруг его головы мухи. Над горизонтом по небу стали протягиваться густо переплетающиеся, движущиеся ветви, вдали потянулись гуськом косари в красных рубахах; они шли один за другим, с закинутыми на плечи косами, и им не было конца. Все это был обман, и путник знал это: за время скитания по степи ему не раз уже, особенно по вечерам, мерещились странные вещи. И ему казалось,—ему стало бы легче, если бы не шли вдали косари, если бы не мелькали по небу черные птицы, и не звучали невидимые косы, режущие невидимую траву...

Косарь вздрогнул и поднял голову. На дороге стоял невысокий человек в нанковом подряснике и смотрел на него. Добродушное лицо было потно и одутловато, за плечами висела на ремнях об'емистая котомка.

Человек свернул с дороги к бабе. Он молча спустил с плеч котомку, сел, вздохнул и, сняв скуфейку, провел рукою по длинным волосам.

Косарь мрачно смотрел и молчал. Человек в подряснике, не торопясь, раскрыл котомку. Достал краюху пшеничного хлеба, воблу, бутылку водки.

— И много же тут нынче вашего брата-полтавца набилось!—заговорил он, раздавливая сургуч бутылки о подножье бабы.—Никогда еще столько не бывало. Что грачей в поле, так всюду вашего брата.

Он ударил ладонью в донышко бутылки, пробка вылетела, и водка в горлышке запенилась. Косарь молчал и злыми глазами косился на соседа.

— Шли траву прибирать, а травку-то сам господь прибрал, для себя!—продолжал человек в подряснике.—Вот и гуляй теперь по степи без дела.

Он отпил из горлышка водки и, как-будто это само собою разумелось, протянул бутылку косарю. Косарь дрогнул, нерешительно оглядел длинноволосого человека. Потом вдруг на черном лице

закривилась улыбка, он поспешно протянул руку и бережно принял бутылку.

Человек в подряснике прожевывал воблу. Он подвинул закуску к косарю и спросил:

— Отколе сам будешь?

— Из Тамбовской губернии.

Косарь отпил водки, утер усы и осторожно, словно боясь потревожить рыбину, отколупнул кусок. На лице его была теперь напряженно-предупредительная улыбка.

— Давно ходишь?

— С пасхи.

Косарь помолчал.

— Шли, шли, милый человек мой,—заговорил он, стараясь не глядеть на закуску,—все думали, дойдем до настоящего места. Обносились, обтрепались, хуже нищих сделались,—нету работы!.. А народ все, знай, валит. И куда идут-то? Сами не ведают. Друг у дружки так и рвут кусок изо рту!

— Косу-то проел уж?

— Проел... Все проел. Да вот ногу еще испортил.

— Не родилось ничего, вот причина. Засуха!.. Да ты ешь, что ж ты?.. Отхлебни еще разок!

— Не обидно будет тебе?—спросил косарь с закривившеюся снова улыбкою и исподлобья взглянул на собеседника.

— Ну, что ты! Господи помилуй!.. Знай, ешь!

Косарь с наслаждением отхлебнул еще водки и принялся за рыбу.

— Я тебе все это дело обскажу повнимательнее,—заговорил он, жуя.—Говоришь: не родилось ничего. Не в этом штука. Тут штука вот какая: время наше прошло. Был тут год один,—после холеры который, этот!.. Трава во—какая была, жито—не прожнешь. А народу мало подошло... И пошли по экономиям косилки, жнейки всякие. С той поры, можно сказать, хорошо и не бывало. Раньше за лето пять-шесть красненьких домой принесешь,—ну, теперь этого уж нету!

— Ты куда ж сейчас идешь?

— Домой бы добраться, да вот нога шибко итти не пущает.

Человек в подряснике помолчал.

— А то пойдем со мною,—сказал он, глядя в степь.—Мое дело легкое.

— А ваше какое же дело будет?—осторожно спросил косарь, переходя на «вы».

— Со святым припасом хожу.

— Гм! Странник, значит, будешь?

— Вроде как бы странника.

— В Ерусалиме был?

Странник загадочно ответил:

— Я где и не был, а все знаю.

Косарь покосился на него.

— Из стрелков, значит, будешь?

— «Из стрелко-ов»... Поучить бы тебя, дурака!.. Ну, да жалко мне тебя. Куда ты пойдешь, такой-то? Бог уж с тобой, пойдем вместе. И мне веселее будет, а то скучно одному... Тебя как звать-то?

— Никитой.

— Ну, Никита, вставай! Будет, отдохнули. Вон уж где солнышко. Скоро деревня будет.

Странник приладил к плечам котомку, они встали и пошли. Странник, маленький и пухлый, шел мелкими шажками, опираясь о камышевую палку, а рядом с ним ковылял огромный, оборванный косарь.

— Ты издалека ли сейчас идешь?—спросил взбодрившийся от водки Никита.

— Да со станции.

— Долго что-то шел!

— Там еще дела кой-какие надо было справить,—поторговать, чайку попить...

Никита громко расхохотался.

— «Дела»!.. Нешто это дело? Сказал бы—поработать, а то— «чайку попить»! Это не дело! Это значит—в мамон свой закладать, а не дело!..

— Буде грохотать, расстегнул пасть!—сурово обрезал его странник.—Вон она деревня, видишь?.. Я что ни буду рассказывать ты все знай—молчи; все равно, как-будто немой будешь. На ночевку оставлять станут, не оставайся: переночуем в степи.

Вдали, в неглубокой балке, серели крыши деревни и зеленели вербы. На пригорке маленькие восьмикрылые мельницы лениво махали кургузыми крыльями.

III

Солнце садилось. Красные лучи били по пыльной деревенской улице, ярко-белые стены хат казались розовыми, а окна в них горели кровавым огнем. Странник и Никита сидели на крылечке хаты, окруженные толпою хохлов,—мужиков и особенно баб.

На столе странник разложил весь свой святой припас. Тут были раковины «с Мертвого моря», собранные на морском берегу в Одессе, были пузырьки с ижехерувимскими каплями, восковые огарки из-под святого огня, картины и фотографии.

Он держал в руках ярко-раскрашенную картину, изображавшую ново-афонский Симоно-кананитский монастырь; на горах, усеянных деревьями, похожими на зеленые бородавки, белели златоглавые церкви, а в небе стояла богородица, простирая ризы над монастырем.

Странник рассказывал о святой и тихой жизни в благочестивом монастыре; он рассказывал певучим, высоким голосом, каким читают в церквах апостола степенные и толковые дьячки, желающие читать «с чувством». Никита, наевшийся вкусного борща с помидорами, чувствовал блаженное отяжеление в теле. Он слушал странника и медленно моргал глазами.

— Отстояли мы обедню, вышли на волю,—рассказывал странник.—Глянули на кумпол,—и что же, братцы вы мои? Стоит на облачке сама матушка-богородица! Все равно, как вот на картине тут... Сияние от нее,—глазам больно смотреть, солнцу подобно... С ним вот вместе были!—прибавил он своим обычным голосом, кивнул на Никиту и оглядел его ясными, умиленными глазами.

Никита пошевелился и стал густо краснеть, косясь на окружающих.

— Немой он, говорить не может сыздетства,—об'яснил странник.—Ну, хорошо, ладно!—продолжал он прежним голосом.—Увидали мы с ним,—смутились в сердце своем, пали на-земь. И взмолился я к владычице небесной: «Мать пресвятая богородица, утешение всех скорбящих! Будет ли товарищу моему спасение, отверзятся ли ему уста?» И случилось тут знамение... Глянула на нас матушка, за уголышек ризу взяла свою и три раза его вот благословила,—раз! два! и три!—больше ничего.

Он вопросительно оглядел слушателей. Бабы скорбно вздыхали и качали головами. Старик-хохол, с трубкою в зубах, слушал с чуть заметною успешкою, засунув руки в карманы шаровар.

— Это что значит?.. Значит: молись и веруй, три года тебе терпеть, а там будет тебе по вере твоей...

Странник замолчал. Никита сидел красный и волком глядел вокруг.

— Веруй в матушку, и все приложится тебе,—снова заговорил странник.—Помни бога, для него живи в мире, для него трудися!—Странник значительно погрозил пухлым пальцем.—А мы как? Все о себе печалуемся,—как бы помягче пожить, да послаще... Ну, вот потом сам и платись!.. В киевских пещурах мощи лежат братов-плотников. Построили они храм Успению пресвятой девы-Марии. Явилась она им, спрашивает: «Чего хотите,—*сиречь* злата, *сиречь* царствия божия?» Двенадцать братов запросили царствия божия, а тринадцатый на злато прельстился, добра запросил. Ну, стал он жить,—хорошо жить стал, мягко, жирно... Прожил год и стал думать в своей голове: «Что я такое иcделал?» И ужахнулся он. Пришел к матушке, пал в ноги: «прости,—говорит,—за глупость, не отринь раба твоего!» А она и говорит: «Ничего теперь не могу сделать тебе. Видишь, мощи братов твоих лежат: если раздвинутся, дадут место,—твое счастье». Взмолился он к мощам: «Братья мои милые, единоутробные! Пожалейте грешника, дайте промеж себя местечко!» Сдвинулись братья, только не хватило для него целого места, втиснулся

он промеж них плечом. Так по сие время и лежат,—двенадцать к небу ликом, а этот промеж них боком...

— А це кто?—прервал его старик-хохол, рассматривавший фотографию образа из киевского собора св. Владимира.

— Никита-Столпник, святой угодник переславский,—скороговоркой ответил странник.—Видишь, на столбе стоит? Тридцать лет и три года простоял...

Он передохнул, быстро высморкался пальцами и тем же певучим голосом стал рассказывать. Рассказывал, как в молодости Никита был «суров и мятежник», как обижал он людей, и как явилось ему знамение: жена его варила мясо и увидела в кастрюле кипящую кровь; в крови мелькали человеческие головы, руки и ноги. Позвала она Никиту, он посмотрел и ужаснулся: «Увы мне, много согреших!..» Пошел к монастырю, влез в болото и три дня просидел в трясине, отдав себя на пищу комарам и жабам. Потом явился к игумену, пал в ноги и стал молить указать ему труд,—«токмо, отче, спаси душу погибающу!..» И построил он себе столб, и стал служить богу. Зиму и лето, день и ночь стоял он на столбе и все молился. Дождь его мочил, снег засыпал, клевали вороны,—он все молился; в каждой руке он держал на весу по тяжелому камню, вериги на теле от многого труда сделались блестящими, как золото...

Хорошо рассказывал странник. Лицо у него стало светлое и вдохновенное, голос проникал в душу. Кругом молчали. Солнце село. Никита смотрел на лежавшую перед ним фотографию и не мог оторвать глаз: высокий, худой и изможденный, стоял угодник на бревенчатом срубе; всклокоченная седая борода спускалась ниже пояса, щеки осунулись, лицо было бледное и мертвенное; потухшие, белесые, как у трупа, глаза смотрели в небо.

И странное что-то творилось с Никитой. Он слушал вдохновенного рассказчика и забыл, что перед ним не больше, как «стрелок». И все смотрел на фотографию, и она оживала под его взглядом: в старческом, трупном лице угодника, в его невидящих, устремленных в небо глазах горела глубокая, страшная жизнь; казалось, ко всему земному он стал совсем чужд и нечувствителен, и дух его

в безмерном покаянном ужасе рвался и не смел подняться вверх, к далекому небу...

Никита поднял голову, подпер щеку кулаком и задумчиво смотрел на затихавшую степь. По этой степи он скитался два месяца, злобный от голода и унижений, полный одним собою. Все пережитое, вся злоба и страдания казались ему теперь мелкими, и он стыдился их. Стыдился, что муки эти он переносил для самого себя, и что они так малы и ничтожны, и что в них нет ничего, что уносило бы его вверх, прочь от земли, как этого угодника.

IV

Темнело. Странник и Никита оставили за собою деревню и шли по степи. Никита ковылял на больных ногах и молча, с пристальным вниманием, косился на спутника: лицо странника казалось ему чуждым, чуждым и страшным в своей чуждости. А странник шел рядом, беззаботно посвистывал и дышал прохладою.

Далеко на юге чернели неподвижные тучи, оттуда шло непрерывное, глухое ворчание. Кругом еще сильнее пахло некошеным сеном. Ветер слабо дул, шурша сухою травою.

— Ну, поглядим, сколько нынче бог послал!—заговорил странник.—Э-эх, коробушка-матушка, ватись на травушку!..

Он скинул котомку на-земь, опустился на траву. Никита стоял и молча глядел.

Странник вытащил из кармана деньги, стал считать: оказалось семьдесят три копейки; было тут и от продажи «святого припасу», были и деньги, данные бабами на свечи угодникам в Соловках, куда будто бы направлялся странник. Потом он вытащил из котомки холсты, яйца, бутылку с водкой.

— Что ж, Никитушка, давай делиться!—ласково сказал странник.

Никите что-то сдавило горло. Он стоял, расставив ноги, и в упор смотрел на странника.

— Знаешь, что?—проговорил он срывающимся голосом.—Тебе одна дорога, мне другая... Прощай, брат!—И он махнул рукою.

Странник изумленно вытаращил глаза и вскочил на ноги.

— Что ты?.. Господи помилуй, чего ты?—Он оторопело вглядывался в Никиту.—Ду-ура ты, дура деревенская!—неожиданно расхохотался он и весело всплеснул руками.

Никита исподлобья оглядел странника—и вдруг, закусив губу, с размаху ударил его тяжелым кулаком в лицо,—ударил больно, крепко, с дикою радостью ощущая, как хрястнул под кулаком нос его спутника...

Странник, с залитым кровью лицом, сидел на земле и испуганно-плачущим голосом ругался. А Никита, не оглядываясь, шел вперед в темневшую степь.

1901

ВАНЬКА

Рассказ приятеля

Года три назад я работал монтером на одном большом петербургском железоделательном заводе. Как-то вечером, в воскресенье, я возвращался домой с Васильевского Острова. Дело было в июне. Поезд пригородной дороги, пыхтя, мчался по тракту вдоль Невы; империал был густо засажен народом; шел громкий, пьяный говор.

— А что, дяденька, в Александровское село доеду я на этой машине?—обратился ко мне мой сосед, толстогубый парень с крепким, загорелым лицом. Он был в пеньковых лаптях и светло-сером зипуне, на голове сидела громадная, облезлая меховая шапка. Серою деревнею так от него и несло. Несло, впрочем, и водочкою.

— Доедешь,—ответил я.

— А тебе на которо место?—спросил его сосед по другую сторону, старик-сапожник.

— Значит... в Александровское село!

— Я понимаю, что в Александровское... Место-то которое? Какая улица?

— Не знаю я...

— Эх, ты, тетка Матрена!.. Давно ли в Питере?

— В Питере-то?

— Да, в Питере-то!

— Нонче утром приехал... Значит, в селе Александровском земляк у меня, у него я пристал. А сейчас к дяде ездил на шашна-

дцатую линию, — у господ кучеряет... Винца, значит, выпили с ним ..

— Как же ты теперь домой попадешь, дурья ты голова? Нужно знать, какая улица—раз, как номер дому—два!—поучающе произнес старик.

— Он думал, тут деревня ему,—отозвался из-за спины скамейки фабричный парень.—Спросил: «Где тут, братцы, Иван Потапыч живет?» а ему всякий: «Вон-он!..» Нет, подожди,—эка ты, брат, какой!

— Должен был адрес спросить!—поучал старик.

— Вер-рно!—с удовольствием согласился парень в шапке и тряхнул головой.

— Вот теперь и ищи земляка своего!

— Ты какой губернии-то? «Скопской»?—быстро спросил фабричный.

— Скопской.

— Ну, во-от!.. Скопской,—сразу видно!

Кругом засмеялись. На парня сыпались насмешки. Он потряхивал головой, затягивался цыгаркою, самостоятельно сплевывал и с большим удовольствием повторял: «Вер-рно!.. Правильно!..»

— Вот тебе село Александровское, приехали. Слезай, ищи земляка!

Парень торопливо встал и спустился вниз. Слегка пошатываясь, он быстро пошел посреди улицы, потряхивая головою и мягко ступая по мостовой пеньковыми лаптями. На перекрестке неподвижно стоял городовой. Парень снял перед ним шапку, с достоинством тряхнул волосами, надел шапку и гордо зашагал дальше. Вскоре он исчез в сумраке белой ночи...

Дня через два мне дали на заводе нового подручного. Я тогда работал на линии. Передо мною предстал мешковатый парень, в огромных сапожищах и меховой шапке. Это был мой сосед по конке.

Он проработал у меня с неделю. Смех было иметь с ним дело, а иногда прямо невмоготу.

— Иван, подай лестницу!

Иван, глазеющий на мою работу, начинает медленно шевелиться.

— Лестницу?.. Ка-акую?

— Да давай скорей лестницу, чор-рт!! «Какую»!..

Иван, не торопясь, берет лестницу и, ворча, начинает ее прилаживать к стене.

— Сам чорт! на-ка!.. Чего орешь?

В нем совсем не было заметно той предупредительной готовности принимать насмешки и ругательства, какую он проявил тогда на конке. Напротив, весь он был пропитан каким-то милым, непоколебимым чувством собственного достоинства, которое совершенно обезоруживало меня.

Пошлешь его на станцию.

— Сбегай, принеси дюжину патронов, да поскорей, пожалуйста!

Иван тяжело пробежит десяток шагов и идет дальше, солидно и убийственно-медленно шагая своими сапожищами. Ждешь, ждешь его. Через полчаса является, словно с прогулки.

— Где ты пропадал?

— Где! А ты куда посылал?

— Чортова ты перечница! Пять минут сбегать, а ты полчаса ползешь!.. Квашня!

— Чего орешь-то?—хладнокровно возражает он.

Присели мы с ним как-то покурить.

— Ты бы, Иван, должен бы меня побольше уважать,—сказал я.—Ведь я над тобою выше стою.

— Чорта ли мне тебя уважать!.. На-ка!—изумился Иван. И он с любопытством оглядел меня своими круглыми глазами, словно выискивал,—за что же это, собственно, я претендую на его «уважение»?

Необычно было с ним беседовать,—совсем с другой планеты спустился человек. «Жена моя из Подгорья к нам приведёна...» Словно о корове рассказывает. Или сообщает, что отец письмо прислал, велит к Ильину дню выслать пять рублей, а то отдерет розгами. Это двадцатилетнего-то мужика... И обо всем рассказывает так, как-будто иначе и не может быть.

Через неделю его взяли на станцию. Однажды мой всегдашний подручный загулял, и мне снова дали на день Ивана. Опять явился

он в своих сапожищах, медленный и солидный, при взгляде на которого сердце начинает нетерпеливо кипеть.

— Ну, ты, дубовая голова, подбери губы! Давай тали заправлять! Живо!

Иван молча нагнулся, взял веревку и стал поспешно продевать ее в блоки. Продевает и все молчит. Я покосился на него: что это с ним?

— Ты что же не ругаешься?—сконфуженно спросил я.—Обругали тебя, ты должен ответить.

Иван молчал.

— Что ж ты молчишь?

Он исподлобья взглянул на меня и вдруг самодовольно ухмыльнулся.

— Нешто я не понимаю? Небось, ты мне старшой! Я против тебя не могу слов говорить.

И весь день был со мною смирен и испуганно почтителен.

Как-то поздно вечером я зашел на нашу электрическую станцию. Помощник машиниста возился около паровой машины; дежурный у доски, повернувшись к доске спиною, читал «Петербургский Листок». Иван неподвижно стоял у стены и пялил сонные глаза на ярко-освещенные циферблаты вольтметров и амперметров.

Следом за мною вошел наш мастер. Засунув руки в карманы кожаной куртки, с папироскою в зубах, он остановился, посвистывая, в дверях. На лицах присутствующих мелькнула мимолетная улыбка, все насторожились.

Вдруг лицо мастера налилось кровью, глаза свирепо выкатились.

— Ванька, где мятла?!—гаркнул он.

Иван вздрогнул и быстро отделился от стены.

— Мятла... Мятла...—растерянно повторил он своим псковским говором. Он схватил стоявшую в углу метлу и стал быстро мести дощатый пол.

— Я на тебя, негодяй, десять рублей штрафу запишу!—орал мастер, топая ногами, как сумасшедший.—Ты для чего тут приставлен, дубина стоеросовая?.. Это что? Это что?

И он указывал рукою на окурок, валявшийся около решотки динамомашины.

— Поднять!.. Что за беспорядок?!

Я в изумлении смотрел. Что это тут за салонный паркет, на котором и окурку нельзя валяться? Кругом посмеивались.

Оказалось, дело было просто. Иван и на станции держался тем же деревенским обломом, совершенно не понимавшим всех тонкостей почтительности и подчинения; он и шапку снимал перед мастером, и не садился при нем, а все-таки во всей его манере держаться сквозило глубокое и несокрушимое чувство своего достоинства; смешно станет—захохочет и скажет, отчего ему смешно; обругают—огрызнется. Мастер взялся за его муштровку. Иван обратился для него в предмет забавы. Как только он замечал, что Иван стоит без дела, так сейчас же делал свирепое лицо и орал громовым голосом:

— Ванька, где мятла?!

Запуганный, сбитый с толку, Иван беспомощно и очумело метался теперь под тучею непрерывных начальственных окриков мастера. Пол электрической станции, действительно, превратился по своей чистоте чуть не в салонный паркет, но все-таки на нем всегда можно было найти соломинку, спичку или обрывок проволоки, из-за которых снова поднималась история.

Однажды, когда мастер в моем присутствии заорал на Ивана, я не выдержал.

— Простите, господин мастер, вы просто издеваетесь над человеком!—резко сказал я.—Если вы взыскиваете с метельщика за каждый окурок, так потрудились бы запретить тут курить...

— Что такое? В чем дело?—невинно и озабоченно спросил мастер, близко подходя ко мне.

— В том дело, что этот парень сюда не в шуты нанят, а вы из него потеху делаете для себя. Что ему, все время без перерыву пол мести, что ли?

— А это до вас касается?—с ядовитою почтительностью ответил мастер.—Ты что ж стоишь, негодяй?!—злобно крикнул он на остановившегося Ивана.—Это что?! Видишь, сор! Чтоб сейчас же чисто было!

Иван испуганно бросился мести. Своим вмешательством я только повредил ему. Мастер, недолюбливавший меня, еще свирепее на-

бросился на Ивана, и что против него можно было сделать? Мастер следит за чистотою станции,—это его право и обязанность.

Иван весь был теперь олицетворением какого-то очумелого испуга и обратился во всеобщее посмешище, даже для своих же товарищей-чернорабочих. Ночью, когда он спал (спал он всегда, как мертвец), какой-нибудь шутник подкрадывался к нему и во все горло гаркал в ухо:

— Ванька, где мятла?!

Иван вскакивал, как от пружинки.

— Мятла... мятла...—испуганно повторял он сквозь сон и начинал метаться по комнате, отыскивая метлу.

Дружный хохот приводил его в себя.

Вскоре я уехал из Петербурга в Луганск. Года два я работал на южных заводах, потом воротился в Питер. Опять тот же завод на тракте, мастерские, разбросанные по широкому двору, приглядевшаяся электрическая станция...

Однажды вечером, сдав дежурство, я вышел из станции. Пошабашившие рабочие, с черными, маслянистыми лицами, в ожидании гудка толпились у выходных ворот. Сторожа в кожаных картузах неподвижно стояли у барьеров. Я присоединился к толпе.

Была метель; широкий заводский двор белел ярко-голубым светом электрических фонарей; от станции неслось равномерное пыхтение, клубы пара, словно громадные, растрепанные белые птицы, метались под ветром по двору и проносились влево, за ярко освещенную механическую мастерскую.

Толпа прибывала. Старики стояли, устало сгорбившись, молодые нетерпеливо переминались и стучали ногою об ногу.

— Что ж гудка нету? Охрип, что ли?—сердито сказал стоявший передо мною слесарь, ежась и пряча руки в рукава.

— Чего прешь вперед?—ворчали сзади.—Видишь, люди стоят.

— Э, дура, боишься, каша дома перепреет?

— Нет, ребята, у него Манька нынче заждалась!

— Народу-то сколько, ба-атюшки! И кто их столько нарожал, чертей?—изумлялся кто-то.

В порывах метели носились и обрывались сальные шутки, ругательства. Нетерпение росло, увеличивавшаяся толпа напирала сзади, и свободный круг перед воротами суживался. Отметчики ругались и осаживали народ назад.

К калитке прошел мастер литейной мастерской, толстый, с поднятым меховым воротником.

— Сторонись, ребята, начальство идет!—с ироническою почтительностью скомандовал кто-то.

— Брюхатое!—прибавил голос из толпы.

— Как бы, ребята, в калитке не застрял... Сторож, раскрой ворота!

Мастер не оборачивался и прятал голову в воротник, чувствуя на себе враждебное внимание принужденной ждать толпы.

Рядом со мною стоял токарь, лет сорока пяти, с черно-седою бородкою. Он сонно моргал глазами, и его худощавое лицо казалось при электрическом свете мертвенным; лицо было умное и хорошее, но глаза смотрели вяло, с глухим, глубоким равнодушием ко всему.

— Больно уж ты что-то уморился!—сказал я.

— С полночи работаю,—коротко ответил он.

— Что так?

— Прогулял два дня. Четыре рубля штрафу да четыре заработку, восемь целковых. Нужно наверстывать... До полночи посплю, а там опять пойду ось точить.

— Все работать... Когда же жить?

Он устало махнул рукою.

— Наша жизнь уж пропита!

— Три дня этак проработаешь,—опять запьешь.

— Понятное дело...

За станцией, дрожа и покрывая свист метели, оглушительно загудел гудок. Толпа колыхнулась и устремилась к барьерам. Ворота распахнулись.

Теснясь и спеша, рабочие пятью узкими потоками двигались между барьерами к воротам. У конца барьеров сторожа обыскивали выходящих, быстро проводя у каждого рукою спереди и сзади. Мы с соседом втиснулись в барьер и продвинулись к выходу. Перед нами плотный и неуклюжий сторож, тщательно и не торопясь, ощупывал высокого рабочего.

— Да ты скоро?—сердито крикнул токарь.—Полчаса ждать тебя тут! Вшей, что ли, ты ищешь у него?!

— Поговори у меня!—хладнокровно произнес сторож.

Он пропустил обысканного рабочего.

— Что стали?—крикнули сзади, напирая.

— Ну, дедо, держись!.. Дави, ребята!

— Черти! Кишки выдавили!..

Толпа стремительно наперла сзади и вытолкнула стоявшего впереди токаря, так что он проскочил мимо сторожа.

Сторож повернулся быстро и неуклюже, как медведь, поймал токаря за рукав, а другою рукою сорвал с него шапку и отбросил ее далеко в снег.

У токаря блеснули глаза.

— Ах, ты, негодяй!—крикнул он.—А если я с тебя шапку сорву?!

— Знай порядок! Куда прешь?—грубо ответил сторож.

— Ступай, подыми шапку!—яростно крикнул токарь, наступая на него.

Толпа грозно зароптала.

— А в контору хочешь?—выразительно спросил сторож.

— Вот тебе контора!

Токарь сорвал со сторожа картуз с бляхою и швырнул его навстречу метели.

Сторожа схватили токаря.

— Веди его в контору!

— Погодите, любезные, мы все в контору пойдем!—сказал я.— Мы там справимся, смеете ли вы с нас шапки срывать.

Старшего отметчика в проходной конторе не было: он как-раз ушел за чем-то. Мы остановились в ожидании его у входа. Сторож стоял и крепко держал токаря за рукав.

— Не держи меня, я сам не уйду!—бешено крикнул токарь, вырывая руку.

— Ты у меня поговори!—пригрозил сторож и схватил его снова.

Сторож был теперь без шапки. Я вгляделся в него: крупные губы, странно знакомое лицо под волосами в скобку...

— Ванька, да это ты?!—с удивлением воскликнул я.

— Вот те и Ванька!—грубо ответил сторож.

Наши показания не повели ни к чему. Токаря уволили с завода, а сторож остался. Массивный и неуклюжий, он стоит у ворот, застыв в тупом величии. Этакого грубого скота я еще не встречал. Думаю, недолго до того, что как-нибудь в укромном месте его изобьют до полусмерти.

— Да, вот те и Ванька!..

1900

К СПЕХУ

Однажды вечером я сидел на крылечке избы моего приятеля Гаврилы и беседовал с его старухой-матерью Дарьей. Шел покос, народ был на лугах. Из соседнего проулка выехал на деревенскую улицу незнакомый лохматый мужик. Он огляделся, завидел нас, повернул лошадь к крылечку и торопливо спрыгнул с телеги.

Мужик был бос, порты болтались на его ногах; из расстегнутого ворота грязной холщевой рубахи глядела коричневая грудь, густые волосы на голове были спутаны и пересыпаны сенной трухой.

— Эй, тетка! Где тут у вас самая рябая девка живет?—с тою же торопливостью обратился он к Дарье. Вообще во всех его движениях было что-то торопливое и как-будто очумелое.

— Чтой-то, господи помилуй!—медленно произнесла Дарья и широко раскрыла глаза.—На что тебе?

— Самая что ни на есть рябая! Сказывали, есть у вас такие...

В смеющихся глазах Дарьи промелькнуло что-то: она поняла. Но я не понимал и удивленно смотрел на мужика, припоминая в то же время, что я где-то видел его раньше.

Дарья протяжно ответила:

— Есть, милый, есть рябенькие!.. А ты сам откудова?

— Из Малахова сам я... Сорок ден, как жена померла, дома трое ребят, а пора, сама знаешь, горячая. Никак не управиться одному!

— Ты вот что: иди ты к Мотьке десятсковой. Вот она, десятская изба, рядом.

— А как, скажешь, пойдет она за меня?

— Ты сам ее и спроси... Да вон она от колодца с ведрами идет. Как подойдет, ты и спроси.

— Илья! Или не признал?—обратился я к мужику.

Он быстро уставился на меня своими бегающими глазами.

— А-а, Викентьич!—радостно проговорил он, и в углах его глаз запрыгали морщинки.—Будь здоров, с приездом!

Он протянул мне корявую руку.

— Татьяна твоя померла?—спросил я, пораженный.

— Померла, померла!—пробормотал он.—Вчера сороковины справил. Заложило бок,—в неделю свернулась, царствие ей небесное!.. Померла, померла Татьяна!

В прошлом году, позднею осенью, я ночевал в Малахове у Ильи, и мне хорошо помнилась его жена Татьяна. Рядом с очумело-суетливым Ильею странно было видеть ее—неторопливую и спокойную, с ясными, ласковыми глазами; видно было по всему, что она стояла поверх мужа, и что он признавал ее опеку, уверенную и любовную... И вот она умерла. То-то он теперь такой грязный и лохматый!

К соседнему двору подошла корснастая, приземистая Мотька с двумя ведрами на коромысле. Илья поспешно бросил вожжи в кузов телеги и рысцою, в болтающихся портах, подбежал к Мотьке.

— Девочка, а девочка! Ты самая рябая на деревне?

Мотька поставила ведра на землю, удивленно оглядела Илью, вдруг густо покраснела и потупилась.

Илья деловито заговорил:

— Слушай, девочка! Холостой тебя не возьмет,—на что ты ему такая? А я вдовый, трое ребят у меня, хозяйство, как следует быть,—лошадь, корова, ну и все такое... Пойдешь замуж за меня?

Мотька стояла, потупившись, и молчала.

— Что ж ты, девонька, молчишь? Ай обиделась?—недоумевающе спросил Илья.

Дарья слушала и покатывалась со смеху.

— Ступай к бате!—тихо ответила Мотька.

— Ну его, батю! Ты-то пойдешь ли?

— А вот батя тебе и скажет.

Илья ударил себя по бедрам.

— Заладила одно: батя да батя... Я тебя спрашиваю.

— А ну те к чорту, паралик лохматый!—вдруг сердито крикнула Мотька, схватила ведра и стремительно ушла в ворота.

Илья поднял брови, поглядел ей вслед и, почесывая в спутанных волосах, побрел к нам.

— «Батя» да «батя», больше ничего!—разочарованно произнес он.—Сама ряба так, что лучше и не надо, а тоже—«батя»! А того не понимает, что бате ее бутылку водки поставь, да еще приезжай, да еще... а времени где же возьмешь! Пора горячая, мне бы поскорее!

Он высморкался пальцами, задумчиво отер руку о подол и вдруг встрепенулся.

— Нет ли у вас здесь еще кого? Нету?.. Ну, коли нету, то, значит, до Тайдакова надо доехать; там тоже, сказывают, рябенькие есть... Оставайтесь здоровы!

Илья взвалился на телегу, захватил в руки вожжи и повернул на дорогу в Тайдаково. Я с недобрым чувством смотрел ему вслед, и мне вспоминались ласковые, ясные глаза Татьяны, умершей всего шесть недель назад.

Мотька появилась в воротах. С злым, нахмуренным лицом она стояла и глядела на золотистое облако пыли, в котором дребезжала телега удалявшегося Ильи.

— Ты что же это, девка, жениху-то отказала?—невинно спросила Дарья.

— «Отказала»!.. Сам страшный какой, а меня с первого же слова срамить зачал: ты, говорит... самая рябая на всей деревне!..

Голос Мотьки задрожал,—от обиды или от сожаления?.. Она повернулась и снова ушла во двор.

В середине июля я возвращался домой на беговых дрожках из Тулы. Был самый разгар страды. Солнце садилось, вся даль к западу была затянута нежно-золотистою пылью, как туманом; пахло спе-

лою рожью. По безбрежной шири полей всюду виднелись рассеянные в одиночку рубахи косцов и согнутые спины жниц; пыльные, облитые потом, все работали молча и сосредоточенно. Что-то тягучее и тупо-властное стояло в знойном воздухе, и копошившиеся среди ржи молчаливые люди казались пригнетенными рабами какой-то огромной, беспощадной силы.

Солнце село, на востоке появилась серо-лиловая полоса с слабо-пурпуровым краем,—первая тень надвигавшейся ночи. Золотистый запад бледнел, полоса на востоке темнела и росла; а вместе с этим вокруг становилось все тише, и людей на полях попадалось все меньше. Дойдя до четверти неба, надвигавшаяся с востока тень слилась с вдруг потемневшим небом, и на нем замигали звезды.

Дрожки быстро катились по накатанной дороге в серой мгле вечера. С низин потянуло влажною прохладою. Во встречных деревнях гасли огни. Истомленное зноем и трудом, все вокруг сладко засыпало.

Была поздняя ночь, когда я проезжал через Малахово. Деревня спала мертвым сном. Вдруг у крайней избы, около плетня, я заметил черную фигуру. Она медленно ходила под лозинами взад и вперед, медленно и однообразно раскачивалась... Неужели это Илья? Изба была его, а неделю назад, поздно вечером проезжая через Малахово, я видел Илью, сидевшего на завалинке и баюкавшего ребенка. Я остановил лошадь.

— Илья, это ты?—окликнул я человека.

— Я,—коротко ответил он из темноты.

Я слез с дрожек и подошел к Илье. На руках, под накинутым на плечи зипуном, он держал закутанного в свивальник ребенка. Я спросил:

— Что, или и до сих пор не нашел ты себе невесты?

— Невесты-то?.. Нет, слава богу, тогда же дело сладил в Тайдакове. Есть теперь баба; хорошая баба, лихая на работу,—дай бог всякому.

— Что же это ты сам с ребенком носишься?

— Не привык он к ней,—неохотно ответил Илья.

Я вгляделся в ребенка.

— Да он же спит!—воскликнул я.

— Пущай спит!—пробормотал Илья.

— Вот чудак!—Пошел бы и сам спать,—устал ведь с работы! Да и для ребенка лучше, если положишь его.

Илья помолчал.

— А может, я это не для него делаю, а для себя?

Я удивленно оглядел его. Лицо Ильи было грустно и необычно-сосредоточено. И вдруг я понял...

Страдные дни властно отбирали себе у Ильи все его помыслы и всю душу. И вот короткие ночи он, вместо отдыха, одиноко ходил с ребенком под лозинами, отдаваясь на свободе воспоминаниям и тоске.

1899

ЗА ПРАВА

Однажды в августе я ехал на велосипеде по петербургскому шоссе. Ехал я с утра и порядком приустал. Солнце стояло высоко и пекло; но по мелким и чахлым перелескам, по болотистым луговинам полз еле видный туман, плоский горизонт был затянут дымкой, а в душно-теплом, сыром воздухе проползали струйки гнилого холода.

На краю большого торгового села стоял трактир. Я подкатил к нему и вошел. В просторной, низкой комнате было прохладно и пусто. Посетителей не было, только у окна сидела за часм молодая бабенка с круглым, румяным лицом; возле нее на стуле лежали палка и узел. По комнате маленькими шажками расхаживал содержатель трактира, низенький человек с короткими ногами, а у стойки, облокотившись о выступ шкапа, сидела его пухлая и толстая жена. Все трое разговаривали, но, когда я вошел, замолчали.

Я заказал себе пару чаю, выпил водки и, сев к столику, развернул свою сумку с припасами. Молодая путница с детским, пристальным вниманием следила за тем, как я резал икру, как намазывал ее на хлеб.

— Я, барин, не буду говорить, а что я думаю!—заговорила она, широко улыбаясь.—Как увижу я эту самую икру, так у меня слюна и пойдет. Знаете, в лужах, где лягушата водятся, много яичек таких наложено. Увижу икру,—сейчас мне это и вспомянется, и уж так-то противно станет.

Лицо у путницы было наивно-глуповатое, но удивительно открытое и располагающее; говоря с ней, невольно хотелось улыбаться.

— А то попробуйте!—предложил я ей.

— Нет, барин милый, нет! Вот выложите вы мне сейчас двадцать пять рублей, скажите: «Настасья, поешь икры!»—не стану есть, ей-богу! Сейчас лягушки вспомнятся... А ведь есть, которые и лягушек едят,—обратилась она к хозяйке.—Ей-богу. Вот студенты в Петербурге, они тебе какую хочешь лягушку с'едят. Ничего, ничего для них нет святого!.. Около конки книжку продавали: «Конец света 15 ноября». Что же это такое? И кто же это выдумал? Не иначе, как эти самые студенты, потому, для них ничего, как есть, нет: свет и свет, а на свете—ни грехов и ничего для них нет. Блуд, плотоугождение—это тоже для них не грех. Да, да!.. Запретили им эту книгу продавать, сейчас же выпустили другую: «Конца свету не будет!» Вот. А теперь все в календарях пишут, что будет всемирная война... Ведь это просто ужасти, что такое!—вздохнула путница.—Что ни на есть, а придумают, и никакого нам спокою не дают!

И она с огорчением оглядела нас своими наивными глазами. Сразу было видно, что душа у нее нараспашку, и что любому желающему она всегда готова выложить ее во всей полности.

— Правда ли, нет ли, а сказывают, что и впрямь война будет,— отозвалась хозяйка тонким голоском, странно звучавшим из ее огромного, жирного тела.—Сказывали, послал царь гонца в Англию, чтоб воевать нам с ними тридцать лет. Те запросили уступки, чтоб только десять лет воевать. И порешили на том, чтоб воевать пятнадцать лет.

— Дура... Вот дура!—презрительно произнес хозяин и, усмехнувшись, взглянул на меня.—Так не воюют,—на сроки. Как победят неприятеля, то и заключают мир.

— А что, милые мои, как войну об'явят, чай, и запасных солдатов погонят?—спросила путница.—Бог даст, и моего тогда хозяина возьмут...—Она скорбно задумалась.—Господь с ним, пускай угонят! Может, легче мне станет, покой будет. А то много он мне беспокойств делает.

— В Питере он у тебя?

— В Питере, голубчик, в Питере... Иду вот к нему добывать свои права!—торжественно произнесла путница.

— Обижает?

— Уж так обижает, что и страданий больше нет на свете!.. Раньше-то мы хорошо жили с ним, в деревне... Взяли его в солдаты, в кавалерию. Отслужил срок, воротился домой. И захотелось ему в люди итти. Сказался отцу. Отец ему так ответил: «кому дома тесно жить, тому ничего не будет, пусть с одним крестом идет»... Уехали мы в Петербург, поступил он в кучера. Как кончился срок паспорту, стал он меня в деревню назад отсылать.—«Куда ж я,—говорю,—поеду? При чем там буду? Ведь отец ничего тебе не дал». Никаких резонов не принимает, прямо в морду. «Уезжай,—говорит,—прочь!»— «Как так? Нет,—говорю,—милый мой, мы с тобой по закону живем, а не как-нибудь. Нас с тобой поп к вечной совместной жизни благословил, так нельзя!..» А он дерзкий такой, неспокойный; такая колотушка, что господи боже! Бьет день и ночь, просто увечит меня! Девок стал к себе водить, мне ни копеечки не дает... Что же это такое?.. Уж я его срамлю, я его срамлю: «Как тебе не стыдно мне, бедной жены, полсапожек не купить? Я тебе жена законная, а без полусапожек хожу!..» Вот раз ушел он. Думаю я: что мне делать? Ничего он мне не покупает. Ах, ты, господи боже!.. Отыскала ключ да и вытащила десять рублей.

— Что же он?—спросила хозяйка.

— Что ж, он ничего сказать не может. Сказал бы, так я бы ему такое показала! «Мало люди, что ли, учены? Они тебя и не так еще обчистят, хороводься больше!»—«Они не обчистят, они меня так любят».—«Та-ак!.. Уж, пожалуйста, не ври! Это жена может в союзной жизни не считаться, а чтобы баба всякая... На что ты ей так-то нужен будешь?..» Ну, однако, стал он меня после того еще пуще бить. Да что,—с ножом на меня набегал! До того извел, что нет моей мочи... Тут люди, которые видели мои обстоятельства, научили меня лично подать прошение в канцелярию его императорского величества по семейным делам. Вызвали нас. Вышел начальник, поспрошал и говорит ему, Семену-то моему:

«— Самое лучшее, что я могу вам посоветовать,—дайте подписку мирной жизни.

«— Нет, говорит, я такой подписки дать не могу, потому знаю мой характер.

«Спрашивает меня:

«— Ну, а вы чего от вашего мужа желаете?

«— Я, ваше высочество, желаю от моего мужа одного: совместной жизни. Ну, а если такой невозможно, то дайте мне,—об одном я буду просить ваше высочество,—дайте мне... отдельный пачпорт!

«Посмотрел на мужа, говорит:

«— Если вы не согласны дать подписки на мирную жизнь... Вы люди молодые, могли бы обойтись.

«Семен молчит.

«— Ну, тогда нам придется выдать вашей супруге отдельный вид, и тогда уже вы до нее некасаемы.

«— Мне, говорит, это все равно. А только я ничего не потерплю от своей супруги: ежели что замечу, я ее изведу. Сам в Сибирь пойду, а уж не потерплю... А позвольте, ваше благо́родие,—можно мне через семь лет жениться?

«— Это, говорит, очень важная суть. Есть, правда, такие миллионщики, которые этого достигают, но тут больше все от вашей жены зависит...

«Как, значит, получила я отдельный пачпорт, не дает мне Семен с собой жить,—зачем его осрамила. На место поступишь,—скандалами изводит... Ну, выехала я на Черную речку, сняла чистенький угол и стала на фабрику ходить. А хозяевам сказала: «вот, хоть и замужняя, а отдельный пачпорт имею; если муж прийдет, вы его до меня не допускайте». Месяц живу, другой. Пошла как-то в мелочную лавочку, селедки купила, хлеба, иду назад. Смотрю, по панели он бежит. Весь красный. А я уж к воротам подхожу. У ворот дворник стоит, посеред улицы городовой. Подбегает ко мне, а в руках нож острый.

«— Кланяйся, говорит, вот сейчас, здесь, мне в ноги!

«— Я тебе поклонюсь, я законы знаю, но только спрячь, Христа-ради, нож.

«Стоит, глаза таращит. Я ему опять говорю:

«— Спрячь нож, а потом я тебе сделаю все, что ты пожелаешь!

«Опустил нож в карман, а сам говорит:

«— Кланяйся!

«— Послушай, говорю, пойдем ко мне в комнату, там я тебе поклонюсь. Неужели ж ты хочешь, чтобы я здесь тебе, на улице, кланялась, и чтобы народ собрался на нас смотреть?

«Раз меня по морде! Тут городовой, дворник подбежали. Я им говорю:

«— Возьмите, ради Христа,—у него открытый нож в руке!

«Сейчас у него ножик отобрали и в участок... И тут я его пожалела. Пожалуйся я, пред'яви свой отдельный пачпорт, его бы в двадцать четыре часа выслали из Петербурга. А я пожалела. Ну, тут, как увидел он это, приказал мне на утро к девяти часам к нему ворочаться. И опять стало мое дело—при муже жить... Только вот что он мне сказал:

«— Ну, хорошо! Мы можем сойтиться жить, но если ты что будешь ерундить, то я тут же могу тебе сказать: «ступай, не хочу!»

«Это значит, что как уж он со мной ни поступай, а я все терпеть должна. Хорошо. Стали мы жить. И начал он меня издевательствами изводить. Ни копейки опять ни на что не дает, смеется. «Ты, говорит, женщина молодая, в соку, с отдельным пачпортом,—как же тебе самой себе не заработать?» А я стала хворать. Двугривенного не дает на лекарство, а сам рубли швыряет. Вижу, плохи мои дела. Кое-как сколотила копейку и уехала в деревню. Живу, поправляюсь. И что ж вы думаете? Девять месяцев жила, и ничего он мне не шлет, не пишет,—это муж-то, супруг законный! А как приехала назад в Питер, у него уж тут всякие-всякие... Не могу я смотреть! Так обидно, даже тошно: юбки всякие, кофты понавешаны в квартире! Вот он вышел, я все забрала, да в плиту, а чтобы гарью не пахло, форточку открыла. Хожу, кутаюсь. Приходит, я ему говорю:

«— Как у вас скверно пахнет!

«— Известно, говорит, не одеколоном. Вокруг лошадей тремся.

«Увидел, что платьев нету...

«— Куды дела?

«— Отстань, пожалуйста, я и не видала!

«Тут я и начала, и начала...

«— Ты что это, говорю, делаешь? Ты из двух законов кровь пьешь! Господи ты, боже! И до чего ты человека допустил! Ничего мне не остается, как руки на себя наложить. Повешусь, да и все тут!

«— Зачем же дело стало? Веревок много.

«Я плачу, заливаюсь.

«— Господи, и кто же перед тобой мои грехи за меня замолит?

«— Я, говорит, замолю.

«— Ты? Нет, ты не можешь! Жена за мужа, действительно, может, и какой бы грех ни был, стоит жене пожелать, и она всегда замолит. А ты не можешь... Ну, вот что: хочешь (последнее пытаю!),— поедем к отцу Иоанну Кронштадтскому? Пусть он нас с тобой рассудит.

«— Что ж, Иоанн Кронштадский, он, действительно... Но только мы и без него все знаем.

«Вот! Этим самым словом и ответил!—со страхом произнесла путница.—Что же это такое? Ведь это просто ужасти, что такое!..

«— У тебя, говорит, отдельный пачпорт, ты женщина свободная, до меня некасаемая.

«— Нет, я говорю, милый, бог выше пачпорта, это ты мне не говори! Нас с тобой законно бог связал. Ты меня и после пачпорта соблазнял к совместной жизни, у меня на это свидетели есть!..

«Так три раза от него я в деревню уезжала и опять набегала, думала,—возьмет его совесть, одумается. Только нет. Стала я тут к гадалке ходить, хочу узнать, что мне от мужа будет. Раскрыла она книгу, смотрит.

«— Вы, говорит, замужем. С мужем хорошо живете?

«— Нет, плохо.

«— Плохо. Он дерзкий!.. Водку пьет?

«— Пьет.

«— Он у вас, как лев...

«И ведь это сущая правда!.. Потом говорит:

«— Он не с одной живет. Одна у него в от'езде.

«Как подумала, так и это правда. Я-то сама и была в от'езде, а больше и некому... А тем я на нее обижаюсь, что была я у нее два

раза, по шестьдесят копеек денег платила, и ведь все уж ей доскональльно известно. Видит она, что я мучаюсь,—почему же она не сказала, есть мне приступ к Семену или нет?»

Путница подперла руками грудь и скорбно задумалась.

— Вот уж два года я так и живу,—снова заговорила она.— Жена—не жена, и неизвестно, что я такое. Поверите, так меня это вот тут-то мутит, что руки бы на себя наложила, кабы души мне не было жалко. Погибнет она, как червяк. Да что, хуже червя! Потому, червяк погибнет, и все тут, а за погибшую душу ангелы ее охранители будут горько плакать вековечно... Так-то они песни-стихи поют вековечные, ну, а как с душой что приключится, то и им плохо. Скажем, к примеру,—убийц души, удавиц, пискунцов...

— Что это такое—пискунцы?—спросил я.

— А пискунцы, это, милый, выкидышные дети, которые после шести месяцев. Знаете, как теперь женщины, особенно по городам: все больше норовят выкидывать. Если выкидыш, покуда дух в ребенка еще не вселился, значит, до шести месяцев,—это ни по чем не считается; а если после шести месяцев, то терпят они муки всякие, покуда родители не помрут и богу не дадут ответа. Ну, хорошо, как они скоро помрут, а ведь есть такие, что́ до ста лет живут,— и чего только тогда младенец не примет!..

Путница замолчала.

— А только не могу я больше терпеть, и вот что я надумала: как приду в Питер, куплю я кухольный нож с острым концом и отправлюсь к нему. Выжду, когда он уйдет, конечно, сторожу на чай дам, чтобы ничего не говорил... А можно так, чтоб и сторож не знал... И такие ему фундаменты подведу, что только держись!— Путница воодушевилась.—Проберусь к ним в комнату да залягу под ихнюю постель, и буду до того выжидать, пока они придут, улягутся, и настанут тихие часы... Тут я и начну выбираться. Если и стукну, так что ж! Ведь спят все. Выберусь и сделаю настоящее сражение! Ее,—ее заколю, а его оставлю. И потом пускай со мной, что хотят, делают. Все равно, его обвиноватят.

Она замолкла и с торжествующей улыбкой оглядела нас. Я спросил:

— Зачем вам все это делать? Он вас не любит, вы вот тоже рады будете, если его угонят в солдаты, паспорт отдельный у вас есть... Чего ж вам еще нужно? Пускай живет, как хочет, вам-то что?

— Нет, милый, нет!—с сожалением возразила путница.—Нет, я этого не могу! У меня есть свои права, он должен закон соблюдать. А то что я такое? Вдова—не вдова, и всякий может меня обидеть.

Кабатчик с предубеждением оглядывал путницу.

— А не иначе, бабочка, что есть в тебе какая-нибудь порча, коли муж тобой брезгует.

— Нету, милый,—это я тебе, как на духу, скажу,—нету никакой порчи! Вот, вся я тут перед вами; сами видите,—молодая, телистая, красивая. Кабы брезговал, так не бегал бы за мной с ножом, не высматривал... А я вот про что думаю. В последний раз сказал он мне: «Я знаю, что ты мне жена, и жену я ни на кого не променяю. Я, может, всю эту шушеру к утру выгоню и жену приму. А только дал я зарок перед богом и не отступлюсь: три раза ты меня покидала, и решил я три года к себе жену не подпускать. Как ты мне жена, то должна была ты от мужа *все* стерпеть, а теперь нечего!..» И вот я все думаю: как это, ведь верно?

Путница пригорюнилась и уставилась в окно.

В СУХОМ ТУМАНЕ

Товаро-пассажирский поезд медленно полз по направлению к Москве. Вечерело, было очень жарко и душно. В вагоне нашем царствовала сонная скука и молчаливость; пассажиры,—все больше из «серой» публики,—спали на скамейках и на пыльном, заплеванном полу, либо вяло разговаривали, куря махорку. Сидевший против меня меднолитейщик из Москвы молча крутил черную бородку и сумрачно смотрел в окно. Он ездил на побывку к себе в деревню и теперь возвращался в Москву; в деревне ли у него было что-нибудь неладно, по характеру ли он был такой, или действовала на него погода,—но все время он смотрел сурово и обиженно, как будто все мы очень досадили ему чем-то.

Погода была странная. Сероватая муть покрывала небо, солнце светилось сквозь нее бледным пятном; неясный горизонт терялся в густой серо-лиловой мгле, и трудно было понять, что это там,—тучи, дым или что другое. Проносившиеся мимо поля, рощи, деревни,—все было окутано синеватою дымкой, словно туманом; но какой туман мог держаться в этом сухом, раскаленном воздухе, в котором почти мгновенно таял валивший из трубы пар? Ни одна травинка не шевелилась, над полями стояла странная тишина. Что-то непонятное, загадочное было во всей природе, этото мило и раздражало.

— Вот погода удивительная!—сказал я.—Должно-быть, где-нибудь леса горят.

— Это не леса горят,—возразил плотный, приземистый плотник-рязанец.—Это сухой туман.

— Какой сухой туман?

— К жаре. Жара, значит, туманною мглою идет по земле; где пройдет, все посушит на отделку.

— У нас под Чернью три года назад такой туман на поля пал,— заговорил бледный старик с болезненным лицом, в рваном, заплатанном зипуне.—В один день весь хлеб посох. Сыпется зерно, вязать начнет баба,—свясла в труху рассыпаются; такая спешка пошла,— косцу по три с полтиной в день платили, только коси поскорей!

— Что же такое туман этот? Пыль, что ли?

— Зачем пыль? Нет. Просто сказать,—сухой туман!—об'яснил плотник.

— Значит, жара самая и есть, сушь!—прибавил старик.

Конечно, пылью это быть не могло. Но что же это?.. И начинало казаться, что это, действительно, зной принял доступный глазу вид и зловещим синим туманом стоит над сохнущими полями, высасывая из них последние остатки влаги.

Старик вздохнул.

— Подержится так еще денек-другой,—посохнет колос! Думали, передохнем годок этот: больно по весне корешок хорош был; ан господь-батюшка опять прогневался, немилость свою посылает... А уж то-то народ отощал!—сказал он, помолчав.

— Отощал,—подтвердил плотник.

— И-и-и! Не роди мать на свет! Живут неведомо как! Как только зиму продержались! А про скотину и не говори. Солома у нас по весне *тридцать копеек* пуд была! Я уж сколько живу, а таких цен не видывал...

Он еще раз вздохнул, почесал себе под зипуном плечо и неподвижно стал смотреть в окно—на это странное, мутное и в то же время безоблачное небо. Поезд пошел тише. Мимо промелькнули три расцепленных товарных вагона, стрелочник, водокачка. Поезд подошел к станции, дрогнув, остановился и замер, словно мгновенно погрузился в сон.

И все кругом словно спало. Теперь, когда поезд не шумел, была еще поразительнее мертвая тишина, царившая над землею. По лугам и пашням, задернутым синеватою дымкою, молча бродили грачи,

разинув клювы. Березы и липы станционного садика не шевелились ни листиком. Изредка налетит ветерок, вяло закачает их пыльные ветви,—и сейчас же упадет, словно изнемогши от жары. Помощник начальника станции, зевая, расхаживал по платформе. У ограды, как изваяние, стояли два мужика-извозчика, поджидавшие седоков; они смотрели на поезд, щурясь от солнца, и казалось, будто их загорелые лица застыли в неподвижной улыбке.

В вагон вошел стройный парень с картузом на затылке, в желто-коричневой бумазейной блузе, испачканной красками,—видимо, маляр. Он с быстрою улыбкою огляделся и громко спросил:

— Местечко найдется, земляки?.. Ну, вот и ладно!—продолжал он, увидев у окна пустую одиночную скамейку.—Как раз для нас приготовлена! Доедем как-нибудь!.. Недалеко ехать-то,—до Серпухова всего!—об'яснил он неизвестно кому.—В три часа, чай, доедем.

Маляр сунул под скамейку свой узел, сел, поправил на голове картуз и сейчас же опять встал.

— А то нешто водочки пойти выпить?—быстро спросил он не то себя, не то окружающих.

— Давно уж буфетчик дожидается,—отозвался кто-то из пассажиров.—Куда это, говорит, запропал малый?

— То же и я говорю!.. Значит, работу кончил, расчет получил,—можно и выпить, как вы скажете?

— А ты где работал-то?

— А вон, за перелеском, графский дом красили. Ворошилов граф—известнейший. Сыну к свадьбе дом готовит... Наших там артель целая и сейчас работает... Эй, эй, земляк!—Маляр тряхнул за плечо дремавшего мужика, у которого свалился с головы картуз.—Чего шапку на пол кидаешь? Уговору не было!—Он поднял картуз и бросил его на колени протиравшему глаза мужику.—Ну, что ж? Нужно пойти, царапнуть!

Он вышел, и сразу в вагоне опять стало тихо. Я сходил за кипятком, заварил чай и пригласил к нему своих соседей—старика, плотника и угрюмого литейщика из Москвы. Раздался третий звонок и вслед за ним кондукторский свисток. Паровоз молчал. Маляр

воротился и снова заполнил вагон своим громким, веселым говором, обращенным неизвестно к кому.

Кондуктор свистнул второй, третий раз. Паровоз помолчал еще некоторое время и потом вдруг хрипло и свирепо откликнулся. Маляр засмеялся.

— Чего ругаешься? Разоспалась машина-то наша! «Отстань ты, говорит, от меня, постылый чорт! Не тревожь!..»

Поезд все не двигался. Маляр с любопытством высунулся из окошка. Кондуктор свистнул еще раз. Молчание. Где-то далеко раздался сердитый крик: «Наддай!»

— Вот так тàк! Не может машина с места сдвинуться, кондуктора наддают... Пойдем, ребята, подсоблять!—стремительно обратился маляр к окружающим.

Пассажиры повысунулись из окон. Паровоз еще раз свистнул дико и хрипло, словно с перепою, заворчал и вдруг сильно дернул вагоны. Поезд тронулся.

Мы пили чай и вяло разговаривали, в тон вяло ползшему поезду и вяло дремавшей природе. Маляр был уж на другом конце вагона и громко спорил о чем-то с сельским священником с седенькой бородкой и в пыльной рясе. Странно было слышать, среди царившей в вагоне скуки, этот веселый голос неугомонного и, должно-быть, очень счастливого маляра.

Я стал расспрашивать литейщика о его поездке в деревню. Он сначала отвечал неохотно, потом постепенно разговорился. Оказалось, у него, правда, были неприятности: год назад в деревне расхворалась старуха-мать литейщика, и на помощь отцу пришлось отправить из Москвы свою жену. Прошел год, мать все не поправлялась. Литейщик с'ездил в деревню на побывку и убедился, что мать его вообще уж больше не работница.

— Вот так, значит, и пойдет дело,—раздраженно говорил литейщик.—Жил себе в Москве—благородно, чисто, все, как следует быть. А теперь—я в Москве живи, семейство в деревне... Разве это порядок?

Старик в зипуне спросил:

— Сын-то ты один у отца?

— Один.

— Ну, невозможно!—подтвердил старик.—Где ж без бабы с хозяйством управиться!

— О том я и говорю. Старуха на печи лежит, не сходит; до лавки, дойдет,—дыхание запирает. С нее не спросишь.

Он помолчал.

— А только я на то ругаюсь, что привык я,—на прежнее положение переходить неохота. Какое я могу иметь удовольствие без жены? Ей о том и забота, чтоб мужу прохладно было,—насчет ли харчей, насчет ли чего другого. Слава богу, пять лет прожил человеком, на бога не жалился. А теперь живи неведомо как. Веселое это дело—с квартирными хозяйками канителиться! Грязь, бестолочь, порядков никаких нет... Наша работа грязная, а хозяйки квартирные раз в месяц стирают. Что ж мне, три дюжины рубашек держать? А жена на то не смотрит, время ли стирать, нет ли; видит, неаккуратно муж ходит, и выстирает. Опять с едою: обедаешь в трактирах, в закусочных,—какая же приятность, скажите, пожалуйста?

— Вам, значит, теперь так всегда и придется жить?—спросил я.

— Так и живи.

— Да, тяжело.

— То-то вот я и говорю... А потом и то сказать: раз в год приедешь домой на недельку, а ведь тоже, извините... Знаете, живой человек! Тяжело без этого самого... Для чего ж я в закон вступал?.. А как вы скажете,—могу я знать, что там без меня жена делает, как обходится? Баба она молодая, горячая.

— И ничего ей не скажешь!—вздохнул старик.—Бабе тоже без этого нужда. Горла не перервешь за такое дело. Она скажет: а ты зачем со мною не живешь?

— И верно.

— То ли уж не верно!—Старик снова вздохнул.—Бабы у нас в деревнях живут все равно, что сироты! Год за годом хитрее идет, жить становится труднее; земли мало, а народу разомножилось, всякий хочет жить, как пригородный, хочет жить легко. Нынче машина увозит его на четыре года, и не увидишь сколько времени. Сам-то он там нешто тихо живет? Эх, бра-ат!

— И многие у вас в Москве так живут?—спросил я литейщика.—В Петербурге заводские больше живут с семьями.

— Нет, у нас, в Москве, этого мало. Все больше артелями живут, а семейство в деревне...—Он помолчал.—У меня товарищ был, мы с ним в паре вместе крупную работу работали. Горяч был на работу,—не угоняешься! Все в деревню посылал, дай,—говорит,—оправлю хозяйство, сяду на землю, своим домом заживу. Приезжает земляк из деревни. «Дядя Федор, а ведь баба-то твоя гуляет!..» Не поверил: сплетки, говорит,—мало ли что наплетут! Другие приехали,—все тоже рассказывают: связалась с писарем... Ну, поехал, посмотрел,—верно! Махнул рукою, воротился, опять у нас работает. О доме думать перестал, стал водочкой займаться: пропадай все пропадом... Вот-те и оправляй хозяйство!—с усмешкой прибавил он.

Вошедший на последней станции маляр уже с десять минут стоял около нас, облокотившись о спинку скамейки, и внимательно слушал. Вдруг, с своею быстрою усмешкою, он громко сказал:

— Я так рассуждаю, что вы неправильно об этом говорите!

— Это насчет чего?—спросил литейщик.

— Вообще насчет ваших разговоров. Кто ж виноват в том деле, позвольте спросить? Говорите: в хозяйстве жена нужна. В хозяйстве? А мне не нужна?

Близкие пассажиры, привлеченные громким голосом маляра, один за другим стали подходить к нашей скамейке. Он продолжал:

— Значит, поженился, а там—«прощай, Саша, прощай, милая»? Ну нет, извините, пожалуйста!.. Я и сам женатый, а только поженился—и обязательно взял жену с собою в Серпухов. Позвольте вам сказать: она мне самому надобна!

— Неспособно мне так-то поступать,—неохотно ответил литейщик.

Маляр удивился.

— Как так неспособно? Почему такое? «Неспособно»! Почему неспособно?—Он с вопросительно-недоумевающею усмешкою оглядел слушателей.—Не-ет! Поженили меня этак в деревне,—весело продолжал он,—отец мне и говорит: «ну, Вася, ты, говорит, поезжай

теперь к своему делу, а жена пущай у нас останется». Ну, нет-с, извините, папаша... «Как?! Что?! Ах, ты такой-сякой! Я тебя для чего женил? Чтоб бабу в хозяйстве иметь!». Бабу в хозяйстве? Эко дело какое! Как же это мы раньше не столковались? Ну, а я для того женился, чтоб жену иметь!

Кругом засмеялись. Какой-то длинный парень в серой поддевке быстро поправил себе на голове картуз и стал энергично чесать в затылке.

— Если здраво рассуждать, в здравом рассудке...—начал он, широко раскрыв глаза, и замолчал, справляясь с поразившими его словами маляра.

Маляр быстро обратился к нему.

— Вы думаете, я неправильно говорю?

— Нет, я говорю... Если здраво рассуждать...

И парень снова замолчал, раскрывая рот, чтоб что-то сказать, и ничего не говоря.

Мой сосед-плотник, все время молча слушавший наши разговоры, теперь вдруг заволновался, для чего-то поднялся, опять сел...

— Погоди, я знаю, что тебе на это сказать!—обратился он к маляру, возбужденно водя руками в воздухе.—Вот что. Поженили тебя.—Почему? Баба нужна, бабы нет в доме... Хорошо,—погоди!.. Бабы нет. Что ж ты без бабы делать будешь в хозяйстве? Как управишься? Как без бабы управишься? Голубчик, голу-убчик!.. Без бабы хозяйству зарез!.. Вот что я тебе сказал против этого!—удовлетворенно произнес он, перестав махать руками.

— В хозя-айстве?—иронически передразнил маляр, но его прервали, и все сразу заговорили.

— В город жену свез!—резко сказал широкоплечий извозчик.—Так ты, может, граф, получаешь тыщи? Сказал слово! Как жить-то будешь в городе с семейством, подумай ты в своей башке!

— Понятное дело, где ж прожить,—отозвался из толпы ламповщик с пригородного завода.—Восемь рублей мне жалованья идет,—обратился он ко мне:—где ж тут с семейством проживешь, рассудите сами. Дай бог на подать скопить, и то слава те, господи! Вот на мне кафтан, а под кафтаном, может, нет ничего!

Маляр решительно отрезал:

— Не можешь в городе жить? Не лезь не в свое место! В деревню ступай, хозяйствуй!

— А с чего хозяйствовать будешь, дурья ты голова, козырь!— воскликнул извозчик.—Нас вот пять братов, а надел на полторы души. По избе построит каждый,—и пахать нечего. Полоска,— сюда отвалил, туда отвалил, и нет ничего... «Хозяйствуй»!.. И рад бы хозяйствовать!.. Велика сладость век в чужих людях жить!

— Не проживешь нынче с хозяйства, нет!—сказал мой сосед-старик.—Есть податели со стороны,—ну, обернешься как-никак; а без подателей не управишься, где там!

— «Хозя-айствуй»! — еще раз сердито повторил извозчик.— Тьфу! Глупые твои слова!..

Он махнул рукою и отошел. Возражения продолжали сыпаться одно за другим. Маляр был разбит по всем пунктам; он не сдавался, но для всех уже было ясно, что перед ними просто чрезвычайно легкомысленный человек, который говорит, сам не знает что.

Разговор разбился на отдельные группы, постепенно захватывая все больше пассажиров. По всем концам вагона оживленно и взволнованно обсуждалась и опровергалась еретическая мысль, высказанная забубенным маляром.

Поезд, гремя и колыхаясь, мчался вперед. Тусклое, кроваво-красное солнце медленно опускалось в грязно-желтую мглу запада. Все та же туманная дымка теперь еще гуще окутывала поля, и все так же странно и непонятно глядела природа. На душе было смутно.

Да, маляр судил легкомысленно,—это было ему доказано самыми неопровержимыми доводами, на которые возражать было нечего. Хозяйствовать в деревне! Но уж один грозный сухой туман, стлавшийся по полям, давал на это такой выразительный ответ, что становилось жутко. А предложение все порвать и жить в городе звучало прямо насмешкою над многими из тех, к кому было обращено. И тем не менее... тем не менее еретическая мысль маляра заключалась ведь не в чем другом, как в том,—что *человек женится для того, чтоб иметь жену!* И сумел же он так искусно поставить вопрос!

Не даром все возражавшие, пред'являя свои неопровержимые доводы, в то же время так сердились и раздражались: маляр был легкомыслен, рубил сплеча,—но как хотите, а человеку полагается жениться именно для того, чтоб иметь жену...

В Серпухове с поезда сошел маляр, сошли плотники и мой сосед-старик. Мы остались с литейщиком. В вагон набились новые пассажиры. Поезд пошел дальше. Я спросил литейщика:

— Ну, а отдохнули вы, по крайней мере, в деревне?

— В деревне-то?.. Как сказать? Для нашего брата в деревне отдых плохой. Скука! Прожил две недели и не чаял, когда уеду. Ведь тоже, знаете, привычка требуется. Еду, скажем, взять; деревенская еда известная,—тюря да лук; народ не балованный. А с отвычки этак поживешь,—живот подводит. Мне что из того, что говядина у меня по двору гуляет, мне ее в чашке надо; а тут—нет! Говядину холь, а ешь редьку.

— Вы-то, я вижу, навряд ли когда захотите перебраться в деревню!

— Где уж там!—Он махнул рукою.—Я и от работы деревенской отвык. Недавно вот покосил день на барском лугу,—мы его помещику миром убираем за выгон,—так все руки отмахал, посегодня болят. Да и то сказать,—чем жить будешь в деревне? Ведь в нынешнее время, знаете, не кормит она, деревня. Наделы у нас малые; летом отработался, а зимою заколачивай избу да иди, куда хочешь, работы искать; на месте вот как платят: в лесу колоть-пилить—двадцать пять копеек, с лошадью—шестьдесят. А одного оброку, если на правленские считать, на старосту, на училище,—двадцать пять рублей заплати за две души. Откуда возьмешь?

— Так ведь живут же у вас все-таки землею?

— Где же живут? Без подателей не проживут: сыновья подают со стороны. А если один мужик в доме, то на зиму уходит на место, только баба остается. Вы извольте сами рассудить: с чего жить? Сена—дай бог, чтоб на свою скотину хватило, овес—две четверти

с двумя мерками отдай в общественную магазею, остальное своей же лошади скормишь; хлеба—хорошо, как до Филиппова дня самим хватит... А подати, а одеться? Керосин, спички, чай, сахар, мелочь всякая? Как крепко ни живи, а без них не обойдешься. Вот и рассудите, как же тут прожить?

— Что же вы будете делать, когда ваши старики умрут?

— Тогда без работника не обойдешься; придется работника брать на лето.

Начиналось что-то непонятное, раздражающее и давящее своею несообразностью.

— Да какая же вам выгода нанимать работника? Что вы имеете от земли? Что она пять месяцев в году дает хлеб вашей семье?.. Вы вот в месяц зарабатываете за пятьдесят рублей,—сколько одних этих денег вы в землю всадите! Сами же вы жалуетесь, что вам без семейства скучно жить. Отчего вам его не взять к себе? Слава богу, на пятьдесят-то рублей можно прожить в городе и с семейством.

— А за землей кто будет ходить?

— Кто! Ну, в аренду можно ее сдать.

— Как же это сдать в аренду? В аренду сдать, все хозяйство порешишь.

— Да на что оно вам, хозяйство?

Литейщик с недоумением посмотрел на меня.

— Вы этого, господин, не понимаете,—медленно и поучающе произнес он, словно говоря с малым ребенком.—Как на что? Чуть что коснись,—скажем, работы нет, скажем, заболел, стар стал,—куда денешься? На улице помирать? А тут все-таки свой угол; сыт не будешь, так хоть с голоду не помрешь.

Я замолчал. Литейщик тоже молчал. Потом заговорил опять:

— Наша работа вредная. Медь на грудь садится, все в чахотке помирает народ; до сорока лет мало кто доживет здоровым. Куда тогда пойдешь? В деревню, больше некуда.

— Невеселая ваша жизнь будет в деревне.

— С одной тоски помрешь.

Он задумчиво поглядел в окно.

На мглистом горизонте, над лесом, алели мутно-пурпуровые пятна. Попрежнему было душно и тихо. По склонам лощин лепились убогие деревеньки, в избах кое-где засветились огни; окутанные загадачною сухою мглою, проносились мимо нас эти деревеньки,—такие тихие, смиренные и жалкие...

Ответ моего собеседника не был для меня новостью; уж много-много раз приходилось мне слышать тот же до стереотипности тожественный ответ: «Как порвешь? Чуть что коснись,—заболел, стар стал или что,—куда денешься?»

Что и говорить, это ли не основательная причина! Когда человек вконец измотается на работе, когда, бессильный и больной, с из'еденными чахоткою легкими, он будет выброшен на мостовую, как негодная ветошка, что тогда?

Тогда себя, мой гордый брат,
Голодной смертью умори ты?

Лучше уж медленная агония в деревне. Но ведь все-таки же это не больше, как агония! А право на эту агонию приходится покупать ценою ломки и калечения всей жизни...

1899

ИСПРАВИЛАСЬ

Я спал крепко. Сквозь сон во мне вдруг начало подниматься что-то тоскливое и досадливое; чувствовалось, что где-то вблизи происходит нечто, во что необходимо вмешаться, и что вмешательство это по-всегдашнему окажется бесполезным и бесцельным.

Сознание все больше пробивалось сквозь сонный туман. Я открыл глаза. Дверь из клети, где я спал, была открыта, с деревенской улицы тянуло в сенцы запахом цветущей черемухи и слабою прохладою вечереющего дня. Кругом было тихо и душно. В избе слышался однообразный, ноющий плач ребенка. Женский голос повторял:

— Ну, замолчи!.. Голоден был бы, что ли! А то нет! Кричит,— дай, что не надо!.. Молчи, молчи!.. «Бо-льно?» Не балуйся!.. замолчи! А то еще пойду, прут выберу... Капризный какой, злющий, со зла совсем пропал!.. Замолчи...

Это был голос Пелагеи. Я третий день жил в Ненашеве у Липатовых. Ночи я проводил на Оке с моим приятелем Федькою Липатовым, страстным рыболовом, а днем отсыпался. Пелагея была жена старшего Федькина брата, печника, который вместе с их отцом, тоже печником, почти круглый год проводил в Москве. В деревне жили только холостой еще Федька, Пелагея с ребенком и старуха-мать Федьки, Матрена.

Пелагея производила на меня странное впчатление. Была это молодая, красивая баба, удивительно крепкая и здоровая; но в серых глазах пряталось что-то загадочно-чуждое; когда я разговаривал с нею, мне казалось, ее отгораживает от людей невидимое облако,

сквозь которое невозможно никакое общение; сколько я мог заметить, такою же чуждою и отдаленною она являлась и для Федьки, и для свекрови. Ее сын, полуторагодовалый Васька, был крепкий, здоровый мальчишка, совсем как мать. Пелагея секла его беспрестанно и беспощадно. Я стыдил ее, уговаривал; Матрена и Федька, больше впрочем из вежливости, поддерживали меня. Пелагея слушала, глядела своим чуждым взглядом, ничего не возражала и сейчас же, как-будто ничего не было, продолжала делать свое.

Теперь она была в избе одна.

— Будешь орать ай нет?—угрожающе шипела Пелагея.—Ну, бай-бай-бай!.. Замолчи! Господи, что за беспутина такой! Замолчать!.. Я с тобой, с тобой!—успокоительно говорила она.—Замолчи... Замолчи-и!—грозно повысила она голос.—Ну, замолчи, просят тебя!

— Ой-ой-ой-ой-ой!—ныл Васька сиплым протяжным басом.

— Замолчи, а то уйду сейчас!.. Ах-х, ты!

Раздался тонкий свист прута и удары его по голому телу.

— Ай-ай-ай-ай!—заплакал Васька быстро и громко тонким голосом.

— Замолчи!.. Замолчи!.. Замолчи!.. — отрывисто повторяла Пелагея и прут хлестал по телу.—Замолчать!.. Да замолчи, господи!.. Ни ночь ни день покою нет!.. Замолчи-и!..

Васька плакал все сильнее и быстрее.

— Ну, замолчи замолчи! Ну, я тебя под березку отнесу!.. Бай-бай-бай!..

Понемногу Васька стал, всхлипывая, затихать.

— Больно?.. А-а! Ну, посмей орать!.. Больно? А кто тебе велел орать? Ну, бай-ба-ай, ба-ай!..

Васька слабо, чуть слышно, ныл. Было жарко и душно, мухи однообразно жужжали в воздухе, пропитанном томительно-сладким запахом черемухи.

— Ба-ай, ба-ай, ба-ай!..—повторяла Пелагея, и в голосе звучала странная нега.

Васька ныл тягучим басом все сильнее.

—Ты перестанешь орать? Нет?—вдруг решительно спросила Пелагея.

— Ай-ай-ай-ай-ай!—закатился Васька.

— Ах, ты, орало!—сорвалась Пелагея.—Вот тебе! Вот тебе! Замолчи! Замолчи! Замолчи!.. Э-э!.. Э!.. Э!..

Я вскочил. В голосе Пелагеи, сливавшемся с хлясканьем прута, ясно звучало острое, безудержное наслаждение. Я быстро вошел в избу. Васька, с завороченной рубашонкой, лежал на лавке, его крепкие голые ножонки бились под хлеставшим его гибким прутом.

— Брось сейчас прут!—крикнул я Пелагее. Ах, ты, бесстыдница! а?

Она остановилась, подняла на меня замутившиеся глаза и выронила прут.

— Бесстыдница ты, бесстыдница этакая!—повторял я и в упор глядел на Пелагею.

Она вдруг густо покраснела, и в ее глазах мелькнул растерянный испуг.

— Положи мальчика в зыбку!—командовал я.—И посмей его еще хоть пальцем тронуть.

Пелагея, все такая же красная и растерянная, покорно положила ребенка в зыбку, медленно подошла к окну и, надвинув платок на глаза, стала смотреть на улицу. Она стояла ко мне спиною. От крепких плеч под тонкими ситцевыми рукавами, от раскрасневшихся щек, от всей ее фигуры несло животною, темною и раздражающею силою.

Я молча ходил по избе. Пелагея, как окаменелая, стояла у окна, спиною ко мне, и не шевелилась. Прошло минут пять. Я взял фуражку и вышел вон.

До вечера я пробродил по окрестностям, по бору, тянущемуся вдоль Оки. Солнце садилось, когда я воротился в Ненашево. Был Духов день, на улице водили хоровод. В этих местах хороводы странны и скучны,—их водят одни девки и молодые бабы, парней не видно: вся мужская молодежь почти круглый год «мастеряет» в Серпухове и Москве, дома хозяйствуют одни старики. Мой приятель Федька был единственный парень на всю деревню, да и то парень

был неважный,—худой и длинный, как хлыст, с добрым и робким детским лицом.

Чудный месяц плывет над рекою,
Все спокойно в ночной тишине,—

неслась голосистая песня, звучащая в настоящее время по всей широкой Руси,—в петербургских портерных и на волжских плотах, в донских рудниках и средь степных косарей.

Когда я подходил к хороводу, песня начала обрываться и таять. Голоса один за другим отпадали, песня становилась напряженнее и обрывистее.

Только видеть тебя бесконечно...—

затянул уже один голос и тоже смолк. Все спешили вниз по улице, оживленно и взволновано переговариваясь. У избы Липатовых темнела большая толпа.

Федька,—босой, с оборванным воротом рубахи,—стоял у дверей с жалким, испуганным лицом. Его мать Матрена, сухая и высокая, с крючковатым носом, металась перед избой и ломала руки.

— Гляди, избу подожжет! Ба-атюшки, да что же делать теперь?!—выла она.

Толпа робко заглядывала в окна и жалась друг к другу. Я спросил Федьку:

— Что такое случилось?

Федька растерянно ответил:

— Опять рехнулась Пелагея... Сидели, пили чай, тебя поджидали. Она на печи лежит. Вдруг завопила, забилась, начала кирпичи выворачивать; как запульнет кирпичом, все чашки перебила!.. Вона, слышишь! Что делает!

Из избы доносился глухой треск и шум.

— Как же вы ее одну оставили? Нужно к ней пойти.

— Сунься,—она тебя попотчует!—заметил кто-то из толпы.— Вон как Федора саданула!

К толпе подошел работник с барского двора Климентий, отставной драгун, в белой, с желтым околышем, грязной фуражке.

— Нужно ее на воздух вывести,—сказал я.—Климентий, если что,—подсоби!

Я вошел в избу. В душной полутьме, на нарах около печки, сидела Пелагея. Когда дверь отворилась, она быстро отшатнулась в угол; выпрямившись и опираясь сзади руками о деревянную настилку, она следила за мною из угла горящими глазами. И сколько же ненависти было в этих глазах!.. Я сделал шаг вперед. Пелагея быстро взмахнула рукою,—и мимо самой моей головы с силою пролетел тяжелый безмен. Я бросился к Пелагее и схватил ее за руки. Климентий и Федька поспешили на помощь.

Мы понесли ее на руках. Пелагея молча рвалась и изгибалась, стараясь вцепиться зубами в наши руки. В дверях она ухватилась за косяк и чуть было не вырвалась. С большим трудом мы вынесли ее из избы и положили на траву.

— Ну, баба!—Климентий тяжело переводил дыхание. Он провел рукою по вспотевшему лбу и глядел на Пелагею с смешанным чувством страха и удовольствия.

Она продолжала биться и на траве. Все ее сильное тело извивалось и корчилось, в расстегнувшемся сарафане трепалась полная, крепкая грудь. Толпа стояла в отдалении.

Понемногу Пелагея стала затихать. Прижалась круглою, загорелою щекою к траве и замерла.

Матрена осторожно оправляла на ней заворотившуюся юбку и громко говорила:

— Погоди, погоди!.. Дай вот, я бабку приведу! Пусть почитает, узнает,—вправду ли ты порчена, али работать не хочешь?

Толпа окружила лежавшую Пелагею и с тупым страхом глядела на нее. Я тихонько сказал Матрене:

— Будет! Нашла время!.. Оставь ее, не говори.

— Как так—«не говори»?—громко возразила Матрена,—Пришла пора навоз возить, вот она и задурила! Не впервой это с нею! И под молотьбу то же было, и в овсяную пору летошний год... Как работать, так и зачинает... Погоди, погоди, милая!-Вот-она бабка-то идет! Она сейчас все узнает!

Пелагея дрогнула, впилась пальцами в траву и забилась снова. Толпа в испуге шарахнулась прочь.

Народу прибывало все больше. Черная, сморщенная старуха поспешно протолкалась сквозь толпу и подошла к Пелагее.

— Выпей, касатка, водицы святой!—грубым старушечьим голосом сказала она, поднимая голову Пелагеи. Положила ей под голову небольшой образок и поднесла к губам лампадный стаканчик с водой.

Пелагея с мутными, бегающими глазами отшатнулась, вскочила на колени, вцепилась обеими руками в образок и, несколько раз ударив его об землю, швырнула в сторону. Образок черною точкою мелькнул на розовом фоне зари и упал в крапиву.

В толпе раздался глухой ропот. А Пелагея с размаху ударилась головою в землю и начала биться.

— В три бы кнута ее хорошенько, все бы прошло!—с негодованием сказал какой-то старик, сердито плюнул и пошел прочь.

Смутный, таинственный ужас распространялся в толпе. Пелагея опять замерла, лежа ничком, и быстро, тяжело дышала. Темнело.

— В сердце, значит, волнение у нее происходит!—проговорил Климентий, с любопытством глядя на Пелагею.

— Что же это,—святой воды не может выпить!—боязливо вздохнула Донька, стройная девка с продолговатым, задумчивым лицом.

Вдруг Пелагея тихо сказала:

— Уйди от меня, змея!

Все насторожились и подвинулись к ней.

— Уйди!.. Уйди, косоглазая!..

Матрена наклонилась к Пелагее и громко спросила:

— Кто такая? Про кого говоришь?

— Уйди, Ганька!—тихо сказала Пелагея, и мне показалось, что по ее щеке промелькнула скрытая улыбка.

Бабы зашептались:

— «Ганька»... Слыхали? Ганьку поминает...

— Какая Ганька?—кричала над ухом Пелагеи Матрена.— Гаврилова?

— Ересова,—ответила Пелагея странно-обычным голосом.

— О-о, господи-батюшка! Да что же это такое?!—вдруг взвыла Парашка, дочь Агафьи Ересовой. Она закрыла лицо фартуком и, рыдая, поспешила домой.

Через минуту прибежала Агафья Ересова. Задыхаясь, она протолкалась сквозь толпу.

— Что такое? Где она?.. Ты что такое на меня взводишь, а? Я тебя испортила? Я тебя испортила?

Пелагея лежала ничком, словно ничего не слыша. Агафья подступала к ней и в неистовстве кричала:

— Ну, грызи, грызи меня! А-а!.. Я испортила?.. Смотрите, православные, будьте свидетели!.. Ну что же, ну?.. Грызи, грызи меня.

Пелагея рванулась и молча забилась.

Ее поднимало кверху и снова ударяло об землю, и, казалось, кто-то невидимый в жутких сумерках трепал и бил ее.

— Не своя сила ею владает!—робко и уверенно произнесла Донька.

— Но, ступай прочь!—вдруг свирепо гаркнул Климентий. Он схватил Агафью за плечо и оттолкнул в сторону.

Агафья крикнула:

— В волость пойду жаловаться! У меня две девки невесты! Я присягу приму!

И, воя, пошла к своей избе.

Пелагея, наконец, утихла и заснула. Ей положили под голову подушку и оставили лежать на воле. Народ стал расходиться. Федька и Матрена остались стеречь спящую.

Заря гасла, стоял теплый вечер. От густого барского сада несло росистою свежестью, запахом черемухи и цветущих яблонь. На Оке слышались свистки пароходов. Спать еще не ложились. Девки и бабы стояли кучами и переговаривались.

Донька смотрела в темноту, прижимала руки к груди и задумчиво повторяла:

— Что же это такое,—святой водицы не смогла испить!

— Как она с печки-то шарахнулась!—рассказывала широколицая Варька.—Торчмя головой на пол! Горстями и зубами вон какую яму в полу выгрызла!

У избы Ересовых слышался заунывный вой девок, ославленных дочерями колдуньи.

Всю ночь Матрена и Федька провели на воздухе около Пелагеи. Она спала спокойно. Утром поднялись, стали пить чай. Пелагея пошла в клеть чесаться. Вдруг, с распущенными волосами, в одной рубашке, она быстро вошла в избу, взяла из божницы большой медный крест и выбежала вон.

Матрена испуганно крикнула:

— Федька, беги следом!

Федька бросился из избы. Мы с Матреною выбежали также. Пелагея, полунагая, с бьющимися по ветру волосами, бежала быстро росистыми огородами к реке. Она бежала, как очумелая, зигзагами, по всходам картофеля и по конопле. Бледный Федька в развевающейся рубашке мчался низами ей наперерез. Пелагея споткнулась о борозду, грохнулась наземь и снова забилась, как подстреленная птица.

— Расступись, расколись, сыра земля, возьми ты меня!—завыла Матрена, упав на дорогу.

Прошло месяца три.

Я жил в деревне, верст за шесть от Ненашева. На полях возили рожь и начинали косить овес. Дни были душные и тихие, какая-то молочно-белая мгла окутывала небо, и солнце светило сквозь нее бледным пятном; слегка парило; мошкара непрерывно и однообразно звенела в липах, на дворах напряженно кричали петухи. К вечеру по западу шли черные облака странных, причудливых очертаний, и поднимался легкий ветер. Наступала ночь. Тучи исчезали, ветер падал, и в душной, черной темноте устанавливалась полная тишь. Казалось, ночь, затаивая жизнь, с жадным любопытством чутко прислушивается к чему-то.

Был вечер. Мне не сиделось дома. Что-то томило, и куда-то тянуло,—тянуло вдаль, в тихую темь, которая лежала над землею. Я вышел бродить. Росы не было, теплый ветер дул мне в лицо. Я шел

по дороге, средь душной тьмы, наполненной запахом спелой ржи и полыни, под этим странным, загадочно-туманным небом, на котором неподвижно стояли тусклые, немигающие звезды. Чего нужно, чего хочется,—не скажешь. Но чего-то хочется страстно, жадно. И обидно становится, что у человека так мало радостей, что много у него запросов и стремлений,—смутных, но неодолимо-властных, и нет им в жизни удовлетворения.

За оврагом, у опушки ненашевского леса, темнели большие черные пятна, слышалось лошадиное фырканье, жевание и унылые переливы дудки. Я перебрался через овраг. Лес глухо и ровно шумел под ветром, и шум его ни усиливался, ни ослабевал. Под кустом ракитника на зипуне сидел парень, стерегший ночное. Переливы дудки смолкли, парень окликнул меня по имени. Это был Федька Липатов.

Я присел к нему под куст, на сухую траву.

— Гуляешь?—спросил он.

— Гуляю. Ночь какая хорошая!

— Теплая ночь...

Мы закурили. Я спросил:

— Ну, что, как у вас дела дома?

— Ничего, слава Богу, помаленьку,—скороговоркою ответил он.

— Пелагея что?

— Пелагея?—Федька с широкою улыбкою обратил ко мне свое худое, детское лицо.—Что, брат, такое сделалось с нею, я и не пойму. После того раза, как был ты, все как рукой сняло! Дурить перестала, всю работу тяжелую работает, не капризится, про корчи и думать перестала... Не иначе, должно-быть, как молитва чья-нибудь дошла.

Он помолчал.

— Два года целых маялись с нею! Придет время, поутихнет, а там опять зачнет дурить. В самую горячую пору вдруг заартачится, на дыбки, — «не пойду!..» Что хочешь, делай. С девками пойдет на поденку, жалится на нас, худо, говорит, жить. «Провалиться бы мне, чорт бы, говорит, меня измял! Загубила я себя!..» Плачет. Со мной тоже,—ничего не поймешь. То ласковая такая, хоть отбавляй, то вся вдруг задрожит, затрясется: «Сопливый ты, паршивый, не могу

я на тебя глядеть! Я тебя зарежу или удушу!» Месяца не пройдет, чтоб чего не натворила.

— А муж ее что?

— Серега-то? Он что же,—приедет на три дня на Святки, на Пасху, на Троицу. С ним она ничего, тиха. А уедет,—и начнет колобродить... Ну, а теперь тишь у нас. С чего такое случилось, невозможно понять.

— Лечили вы ее?

— Ну, пора там,—«лечили»!.. Это от порчи было,а не от болезни. А помнишь, ты все обижался, зачем Ваську бьет?—прибавил он с улыбкою.—Тоже куда тише стала.

Мы говорили с четверть часа. Я пошел дальше.

Среди скошенных лугов вилась речка Ненаша. Чистая, не подернутая туманом, она слабо сверкала в темноте, впадая в Оку. На горе над речкою темнел густой ненашевский барский сад; тропинка сбегала по косогору к дощатой купальне. Серые, мокрые внизу доски купальни заросли зеленою плесенью, у мостков торчала корма лодки. Я сел на берег, заросший плакуном и мать-мачехою.

Попрежнему томило, было тепло и душно. Гигантская старая береза глухо шепталась сзади, и ей сбоку мягко отвечал шорох прибрежных лозинок. Я долго сидел на берегу. Ветер стих, с ним стихли все шорохи, и ночь опять замерла—чуткая, как будто прислушивающаяся к чему-то...

На косогоре раздались человеческие голоса. Сдержанно переговариваясь, к реке спускались две фигуры. Я узнал голос барского работника Климентия. В заломленной набекрень белой фуражке, он шел, обнимая за плечи женщину в красном платочке; она тесно и счастливо прижималась к нему всем телом. Эти крепкие, круглые плечи под кисейными рукавами, круглая щека под платочком... Да это Пелагея!

Они сели в лодку. Климентий несколькими сильными взмахами вывел ее на середину реки. Потом он бросил весла и пересел на корму к Пелагее. Она снова порывисто приникла к нему. Лодка, не управляемая веслами, медленно плыла по течению. Теплая, темная тишь покрывала реку.

1901

ОБ ОДНОМ ДОМЕ

I.

На Гремячем колодце

Мы третий день косили в Опасовском лесу. Был вечер, солнце село. Наш табор расположился на полянке, около лощины. Старики отбивали косы, костры трещали, и синий дым медленно стлался между кустами. Дальние полянки дымились легким туманом.

Я лежал на склоне лощины, около Гремячего колодца. Перед ужином мы выпили водки, и тяжелая усталость превратилась в приятную истому. Не хотелось шевелиться, сквозь охватившую глубокую задумчивость медленно проплывали чуть сознаваемые мысли; в просторном меркнувшем небе загорались звезды, и, казалось, никогда еще в нем не было столько тихой красоты.

Около меня, на пригорке, сидели и разговаривали три девки из нашего табора—Донька Коломенцова, Настасья и Аленка. Внизу был Гремячий ключ, холодный, чистый, как слеза; ручеек журчал в осоке, впадая в зацветшую сажалку; на узкой плотине стояли три старые ивы, и над ними светился серп молодого месяца.

Этот ключ, говорят, выбит из земли молнией и обладает целебною силою; на его дне, в чистом белом песке, всегда лежит масса образков и медных крестиков. А сейчас от Доньки я узнал, что и сажалка здесь тоже особенная: на ее тинистом дне лежит труп убитого прохожим солдатом чорта. Дело было так: в давнее время шел через лес солдат; над лесом бушевала буря; солдат подошел к пруду и видит: с неба

бьет громом в пруд, вода бурлит, а над водою мелькает чья то косматая голова; как ударит громом, она в воду, а потом опять вынырнет. Солдат стоял за кустом, приложился из ружья,—бац! Стон прокатился по лесу, и голова исчезла под водой. Солдат испугался, думал—застрелил человека, а это Илья-пророк с неба в чорта бил, да никак попасть не мог, а солдат ему подсобил...

Тайна этого пруда и ключа настраивала на особенный лад. И покосившийся крест над ключом, и черная вода в просветах зеленой тины, и старые ивы—все глядело значительно, таинственно и необычно. Ко всему этому странно подходила и сидевшая на пригорке Донька. Стройная, с продолговатым, задумчивым лицом, она рассказывала о загадочных «курдушах», которые водились в амбаре дернопольского лавочника Ивана Левонова. В лице Доньки было что-то удивительно одухотворенное, как бы прислушивающееся, и в то же время болезненное; прошлою осенью с нею было несколько припадков, и она слыла «порченою». Жила она душою в каком-то совсем особенном мире, полном таинственных сил и существ, и эти силы в ее присутствии как бы оживали и для других людей. Я смотрел на нее, и мне казалось,—вот, в сумраке летнего вечера, над этим прудом с трупом чорта, сидит задумчивая и серьезная Сказка.

Своим медленным, грудным голосом Донька рассказывала:

— Он потому и богат, что ему курдуши служат. Тетка Матрена сколько раз видала: как ночь, выйдет с месивом на крыльцо и кормит их.

— Он, что же, колдун, значит?—спросил я.

— Нет, он-то не колдун, а у него отец колдун был; вот, говорят, курдушей этих ему и оставил.

— Да что это такое, курдуши эти?

— А кто ж их знает! Ведь их не увидишь... Один-то раз тетка Матрена подглядела; пошла она с Иваном Левоновым в амбар к нему, мучицы насыпать; отперла дверь, а из закрома какой-то черненький выскочил и—в нору; в роде как бы кошка, только по-длиннее и с бородкой. Значит, схоронился от чужого глаза.

— На что же они ему нужны?

— Как на что? А они ночью по чужим амбарам ходят, хлеб таскают к хозяину; как в каком амбаре дверь без креста, хоть на пяти запорах будь, пролезут...—Донька помолчала.—Раз я их сама слышала, курдушей этих,—проговорила она с медленною улыбкой.— Иду ночью через Дернополье, а они у лавочника в амбаре: у-уу! у-уу!.. Воют. Есть,значит, просят. Так вот тоже, бывает, дворные воют!

— А дворные разве тоже воют?—спросил я. Дворными в наших краях называют домовых.

— Дворные? Ну, как же не воют! Это и в нашей деревне было, у Сергея Чумакова. Он со всем семейством ушел в Венев, избу заколотил. Так то-то там по ночам дворной выл! Никто на деревне не спал, боялись. Думали, не собака ли; так нет, не было у него собаки...

Заговорила Настька, рябая и скуластая.

— Не знаю, как Иван Левонов, а вот, девки, Аринка санинская,— это уж верно, что еретица. Ее давно оговаривали, а нынче на святках испытание сделали девки. Как жарили яичницу, воткнули нож под крышку стола, где Аринке сидеть. Сели, значит, яичницу есть, и Аринка села. Вдруг встала,—«тошно!»—говорит, и вышла из-за стола... Сколько шуму было! Тут же жених ее был на вечорке,—«а ну тебя, говорит, не стану я с тобой жениться, мне моя душа дороже!»

— Ей отец велел от себя взять, она тому невиновна,—понизив голос, сказала Донька.—Он колдун был, коренщик; стал помирать, а колдовство-то сдать некому; долго мучился, никак не помрет; наконец позвал Аринку, велел ей принять, ну, после того и помер.

— Господи, что ж ей теперь на том свете за это будет!—от глубины души вздохнула Настька.

Донька молчала и задумчиво глядела в темневшую чащу леса.

— Наступит час, придет за нею *тот-то*...—медленно заговорила она.—Вот как летошний год за одним ненашевским мужиком приезжал, Андреяном Лаврентьевым. Заболел он после водки, все сидят, не спят, молоком его отпаивают. Вдруг в полночь слышит, по дороге из-за церкви кто-то едет на тройке, бубенцы звенят. Под'ехали к дому, остановились. Андреян испугался, зачуял, значит, велел огонь под лавку спрятать. Стучат в дверь, хозяева не отпирают

боятся. Те все стучат. Ну, вышла старуха в сени, спрашивает: «Кто такое тут?»—Отпирай!—«Кто такой, кому отпирать?»—Тебе говорят, отпирай! Мы за Андреяном Лаврентьевым приехали. Он здесь?—«Нет, говорит, нету, он на ярмарку уехал». Духи и говорят: «ну, коли его нет, то и дела нет!» И поехали мимо церкви назад... А через три дня вышел Андреян вечерком на гумно и не воротился. Стали искать, видят: лежит под ометом мертвый,—синий, глаза выпучены... Они ведь тоже хитрые, от них не убережешься!

— Слушай, Доня, ну, скажи, за что же им брать Аринку?—сказал я.—Ведь сама же ты говоришь, что она не по своей воле колдовство взяла, что ей отец приказал.

— Там этого не спросят.

— Так зачем она брала у отца? Отказалась бы!

— Как откажешься? Кабы он ее спросил. А то — «возьми», говорит, больше ничего.

— А она бы ему сказала: «Не хочу! Сам грешил, сам и расплачивайся! За что же мне-то свою душу губить?..» Ну, ты вот, если бы у тебя отец колдун был, взяла бы ты от него колдовство?

Донька покорно ответила:

— Как же не возьмешь?

Я замолчал. Тут был какой-то совсем особенный нравственный мир, настолько чуждый и непостижимый, что разговор иссякал: темные, слепые силы не отойдут от раз обреченного, и самый высокий подвиг не несет в себе оправдания.

И то, что ответила Донька, были не слова: да, она, действительно, взяла бы на себя вечную муку и погубила бы себя; и взяла бы не как подвиг, не с душевным под'емом, а покорно и безропотно, как неотвратимую беду.

Нечто подобное ей и предстояло: дом их был очень бедный, мальчиков не было; старших сестер Доньки повыдали замуж, и осталась одна Донька. Чтоб «сохранить дом», нужно было выдать Доньку за парня, который бы согласился итти в приемные зятья; иначе, после смерти старика-отца, земля, по обычаю, должна была отойти к «обществу». Но Донька была «порченая», и три жениха под-ряд отказались от нее. О выборе нечего было и думать: кто-хочет, приди и возьми ее,

только спаси дом. И эта девушка покорно стояла, как рабыня на торгу, и ждала первого встречного, который бы удостоил взять ее. А между тем она любила одного парня из соседней деревни, и он был рад жениться на ней, но не мог итти в «зятья».

— Что это, сколько страстей нарассказывали! Жутко будет спать! — вздохнула Аленка, девочка-подросток лет пятнадцати.

Настька вполголоса пела:

Черная чернобылка во поле стояла,
Во поле стояла, к земле припадала...

Темнело. Серп месяца стал ярче и светил теперь сквозь ивы. Внизу, в осоке, ровно журчал ручей, лягушка подозрительно и испытующе квакнула в сажалке и замолчала. На берегу, между двумя пеньками, стройная осинка глухо и ровно шепталась листьями.

Настька пела:

Ах, ты, мать-сыра-земля!
Ты скажи мне всеё правду,
Что какая зима будет,—
Лютые ль морозы, иль глубокие снеги?..

В теплом, темневшем небе загоралось все больше звезд. От табора донесся голос тетки-Соломониды:

— Аленка! Скоро, что ли, спать придешь? Сидишь там... со всякими! До свету, что ли, сидеть будешь?

— Сейчас!—неохотно отозвалась Аленка.

— Вот я тебе «сейчас»! Иди, что ли! А то вожжой пригоню!

Аленка еще посидела, потом лениво поднялась и пошла. Настька улыбнулась.

— «Со всякими»... Тебя, ведьма, омекает!

— Что-то не любит тебя тетка Соломонида, все придирается,— обратился я к Доньке.—С чего это?

— Сердится на меня. С осени сердится. И не кланяется. Как помешалась я осенью, сама не помню, что творила; кричу, плачу, всего боюсь. Посадила по одну сторону маму, по другую батю, сижу под образами и молитвы пою... Весною я в Ненашеве у сестры гостила, там баба одна, Пелагея, помешалась; так та образа святые в крапиву

швыряла. А я все только молитвы пела... Сижу, значит, пою. А тетка Соломонида подошла к окошку, смеется: «знать,— говорит,— дядя Афанасий,твоему корню конец приходит!» А я вскочила с лавки,кричу: «Конец, да не для вас! Прахом пойдет земля, а вам не достанется, колдунам!..» Вот и сердится на меня с той поры, не кланяется. А я чем виновата! Что крикнула, не знаю... Они-то все, конечно, были рады: не возьмет меня никто, земля обществу достанется. А землею у нас все тужат.

— И с чего это, Донька, случилось с тобою?—вздохнула Настька.—Такая здоровая была, а тут вдруг на-поди, что случилось!

Донька задумчиво ответила:

— Я вот все думаю, кому бы на работе было испортить? Ведь я на молотьбе тогда была в барской риге. Некому бы испортить, а выказывается порча. Пришла меня крестная проведать, в кармане бутылка со святою водицею, камешек иорданский, песочек... Она на порог, а я вскочила, за плечи ее схватила, смотрю в глаза: «ты что в кармане несешь?»

— Почуяла, значит!

— Да, не иначе, как порча. А кто напустил? Разве я свят дух, могу знать?

И ее глаза с робким вопросом устремились в темноту.

— И опять же, отчитали меня. Мама пошла в Еньково, к старухе. С этой старухой каждый год припадки бывали; дала зарок молебствовать,—сняло. А как годом не помолебствует, опять припадки. Вот, значит, сижу я в избе на полатях, и словно котята у меня в животе ходят, под сердце подкатываются. А как пришла пора, значит, прочитала там старуха восемьдесят две молитвы, поднялась у меня рвота; зеленое что-это пошло, как лягушиные гнезда, а в них головки. И стало легче... Должно-быть, порча.—Донька помолчала.—А может, господь покарал. Только уж не знаю,—любя ли, за грехи ли какие?

И опять ее глаза с тем же вопросом медленно уставились в темноту. И мне казалось, я вижу, как под этим робким взглядом в сумраке складываются и волнуются смутные, загадочные силы, цепко опутавшие всю жизнь беспомощного человека.

— А что, Донька, ведь не пройдет уж в тебе эта порча!—сказала Настька.—Прежнего цвета уж не будет,—кто тебя возьмет?

Донька опустила глаза.

— Федор дернопольский брал... Говорит: ничего, что ты порченая. А только нельзя ему к нам в дом итти, ему бабу к себе нужно.

— Ну, вот, бог даст, не найдется тебе жениха, и пойдешь за Федора,—заметил я.

— Нет, где же! Нельзя. Кто меня пустит? Мама больная лежит, бате одному не управиться. Мне на сторону итти нельзя...

Серп месяца скрылся за лесом. Было темно. От сажалки тянуло запахом влажной тины. Осинка на берегу робко шумела листьями.

Она была такая же стройная, как Донька... Эта осинка стоит тут, ее сечет градом, треплет ветром, ребята обламывают на ней ветки, а она стоит, робкая и тихая, и с нерассуждающею покорностью принимает все, что на нее посылает судьба. Придет чужой человек, подрубит топором ее стройный ствол, и с тою же покорностью она упадет на землю, и останется от нее только сухой, мертвый пенек.

Я лежал на копне. В небе теплились звезды; с поля, из-за кустов, несло широким теплом; в лесу стоял глухой, сонный шум. Тело, неподвижное и отяжелевшее, как будто стало чужим, мысли в голове мешались, и мешались представления. Стройная осинка, стройная Донька, обе робко и покорно смотрящие в темноту... Милая, милая! Сколько в ней глубокого, несознанного трагизма, и сколько трагизма в этой несознанности!

II

Похороны

В конце августа в доме Коломенцовых появился новый человек.

Это был молодой парень, худой и маленький, с землисто-бледным лицом; одет он был по-городски, в пиджак и жилетку. Проезжая по деревенской улице, я не раз видел, как он вместе с Донькою рубил около избы хворост или молотил на току рожь. И странно было смотреть на этого маленького, как будто недоношенного природою че-

ловечка рядом со стройною красавицею Донькою, с ее тонкими, сильными руками... Неужели это новый жених?

Однажды вечером я проходил мимо избы Коломенцовых. На пороге, кутаясь в тулуп, сидела старуха-мать Доньки, Мавра, с желтым, мертвенно-сухим лицом и громадным животом. У нее цирроз печени и порок сердца, она уже второй год еле двигается и только в хорошие дни выползает на порог. Поздоровались.

— Как дела у вас?—с любопытством спросил я.

Мавра сделала хитрое и торжествующее лицо.

— Батюшка! Женишок новый об'явился!—таинственно сообщила она.

— Это тот-то, маленький?

— Да, да, да, да, да... Он, видишь, шпитонок *), в Туле живет в музыкантах,—зашептала она. — Значит, прожил у нас недельку, чтоб и ему присмотреться, и нам его узнать... Нынче утром ушел в Тулу...Приглянулась ему девка-то! Известное дело, сейчас же добрые люди понасказали про нее, ну, а он: «пустяки,—говорит,—я этим не антиресуюсь!..» Да ты, батюшка, зайди в избу!

Вот оно, совершилось!... У меня тяжело сжалось сердце.

Мы с Маврой вошли в избу. Изба была черная, тесная, как клетушка, с грязным земляным полом. В ней пахло сажею и залежавшимся навозом.

Из риги воротились с молотьбы Донька и ее отец Афанасий. Афанасий был высокий и худой старик, с таким же, как у Доньки, продолговатым лицом, в его глазах было то спокойно-подчиненное, смиренное выражение, какое часто бывает у старых мужиков.

— Он где же играет в Туле?—спросил я Мавру про жениха.

— А там в хору, что ли, в каком. По десять рублей ему платят в месяц... Ученый. Читать может псалтыри над покойниками, все, что хочешь. Ростом низменный, а уж то-то разумом умен!

Донька сидела на лавке у окна, с руками на коленях. Она медленно улыбнулась и сказала:

*) Питомец воспитательного дома.

— Чудной такой!.. Деревенской работы совсем не понимает, робливый. Скажешь: поди, напой лошадь!—«Она забрыкает!»—Пригони корову!—«Она забодает!»

— Плох насчет нашей работы,—согласилась Мавра:—мало понимает. «Я, говорит,—мама, только курочек на своем веку и видел...» Раз послал его хозяин дровец порубить, а девка из сарая в щелку и подглядела: отрубит колышек, и к глазам его,—значит, плох глазами, опытности у него в глазках нету... «Вы,—говорит,—мама, не опасайтесь: я хоть на работу плох, а одним чтением на подани заработаю». Ну, а где там! Подань у нас тяжелая!

— Да только ли он глазами плох? Нет ли у него еще какой болезни?—спросил я, вспоминая подозрительно-землистый цвет лица парня.

— Господь его знает, батюшка! Нешто мы понимаем? Девка, та вот доглядела: под-мышкой справа у него рубаха в желтых пятнах, в роде как бы дрянь выступает из бока... Ну, да ведь не всякому здоровым быть!

— Загублю я себя!—вздохнула Донька, глядя в темный угол избы.

Афанасий поучающе заговорил:

— Нужно, батюшка, так сказать, что и на том спасибо! Горе такое вышло, испортили девку у нас, не берет никто. А сынов-то нету, дома передать некому,—видишь? Пропадать приходится дому.

— А сохранить-то, значит, хочется!—об'яснила Мавра.—Присватывался тут к девке женишок один, из Дернополья, да не может он к нам в зятья итти, а мы девку отдать не можем: нету сына, надобно зятя добывать.

— Плох паренек, плох, это надо правду сказать!—раздумчиво произнес Афанасий.—Мало пользы от него будет, а что поделаешь? Докуда ждать? Брезгуют девкою, сами видим—с изъяном.

— Отдали бы вы ее за Федора дернопольского. Что вы девку-то губите?—сказал я.—Сами говорите: плох парень, а ведь ей с ним всю жизнь маяться. Пожалели бы дочь!

Мавра скорбно возразила:

— Батюшка, да нешто не жалеем? Уж так-то жалеем! Да что ж поделаешь? Нельзя нам ее в чужой дом отдать,—что с хозяйством станется? Дуры-то мы, дуры, силы мужичьей у нас нету, а не обойдешься без нас в хозяйстве, нужно, чтоб баба была. А от меня, милый, пользы никакой нет, уж второй год лежу... Старик и то иной раз заругается: «когда ты сдохнешь?» Известно, наше дело христьянское, рабочее. Только хлеб задаром жуешь.

Доня неподвижно сидела на лавке и задумчиво глядела в угол.

Керосинка без стекла тускло горела на столе, дым коптящею, шевелящеюся струйкою поднимался к потолку. По стенам тянулись серые тени. За закоптелою печкою шевелилась густая темнота. И из темноты, казалось мне, пристально смотрит в избу мрачный, беспощадный дух дома. Он намечает к смерти ставшую ему ненужною старуху; как огромный паук, невидимою паутиною крепко опутывает покорно опущенные плечи девушки...

И мне пришло в голову: не он ли, этот закоптелый, прикованный к печке дух, так возмущающий меня своею тупою беспощадностью,—не он ли один дает все-таки хоть какой-нибудь смысл всей этой непонятной для меня жизни?..

Афанасий вздохнул.

— А как нам вот зятя-то теперь приводить! Нужно миру ведро вина поставить, чтоб подписали приговор, ветчины выложить на закуску... А капитал у нас вот как тонок! Не вытянем.

В конце августа, в воскресенье, Афанасий обратился на сходе к миру с просьбою разрешить ему принять в дом зятя. Решение вышло ужасное: мир наотрез отказал. Этого, собственно, и следовало ожидать: все томились безземельем, земли нехватало своим, и безумно было принимать в общество новых членов. Правда, некоторые, соблазняясь предстоящим угощением, заговорили, что следовало бы уважить старика. Но против них решительно и резко восстал Михайло Шестопалов, умный, энергичный мужик, горячо принимавший к сердцу общественные интересы.

— Не принимаем! Не согласны!—бунтовал он.—Не можем мы землю отдавать чужакам: своим мало!

Афанасий, бледный и смиренный, мял в руках шапку.

— Дозвольте, православные, дом сохранить!—дрожащим голосом просил он.

— Несогласны!—орал Михайло.—Староста! Засвидетельствуй: несогласны! Не можем мы землю раздавать!.. Трех зятьев уж приняли, показали дурость свою... Буде! Довольно!

— Верно! Невозможно отдать!—согласился Арсентий, хромой мужик с умным, тонким лицом. Он и Михайло вертели старостою и сходом и всегда умели заставить мир принять то, что находили нужным.

— Уж видно, дядя Афанасий, не иначе, как дому твоему конец нужно сделать,—сочувственно вздыхая, сказал Сергей Софронычев.

Сход расходился. Мавра, несмотря на холодный ветер, сидела на пороге своей избы. С побелевшими губами и мутными глазами, она растерянно качала головою. Около нее стояла бледная Донька, прижимала к груди руки и неподвижно смотрела на расходившихся по дороге мужиков.

Вечером Донька прибежала за мною и попросила поскорее притти: Мавре стало очень худо, и ее уже причастили.

Она лежала на полатях и протяжно охала. Я исследовал ее. Дело было плохо: сердце переставало работать, появился отек легких.

В темном углу, около печки, что-то зашевелилось на земле. Это был Афанасий. Босой, в распоясанной рубахе, он поднялся и, шатаясь, подошел ко мне.

— Барин! Я чувствую! Вот пришел ты к нам, старуху мою хочешь полечить... Дай тебе господь доброго здоровья! Стараешься для нас!..—Старик покачнулся и оглядел меня пьяным взглядом.—Извините!—пробормотал он.—Извините... Простите меня, грешного раба, недостойного!

Он рухнул на колени и прижался лицом к моему сапогу. Донька подошла к нему.

— Батя, оставь! Ляг на лавку!

Она подняла его и подвела к лавке.

— Уйди!—вдруг сказал он. Вырвал руку и опять сел на землю около печки.

Снаружи бушевал ветер; с шелестящим шорохом он проносился по соломенной крыше и глухо ворчал в трубе. Мавра, покрытая тулупом, хрипло стонала, в груди ее клокотало.

Афанасий сидел в углу на своих босых ногах и бормотал:

— Ну, ладно!.. Покорно благодарим!.. Что ж, о чем толк?.. Помирать нам всем нужно... Правильно? Мы все одного бога боимся... А с девки не спросишь. Что девка?—Навоз! Вывез в поле, и нет ее.— Старик помолчал.—Жена!—вдруг грозно позвал он.

Хриплые, долгие стоны Мавры наполняли избу и мешались с шумом ветра. Потом вдруг из ее груди вылетел ясный, чистый, громкий звук и замер. На минуту стало тихо.

Афанасий выразительно повторил:

— Жена!

— Ох! Ох! Ох!—быстро захрипели снова короткие, отрывистые стоны.

— Буде тебе, батя! Сиди!—убеждала отца Донька.

— Уйди!—упрямо сказал Афанасий.

Он поднялся и, в развалку ступая босыми ногами, пошел к полатям.

— Жена-а!—грозно и протяжно позвал он снова.

— Ну, куда ты? Помирает Мавра, отойди!—сказал я, удерживая его.

Старик остановился передо мною.

— Барин! Я понимаю!.. Подсобить хочешь старухе,—ну, дай тебе бог доброго здоровья!.. А что жалко? Я говорю: «дайте дом сохранить!»—а они... Ведь сам избу-то срубил, милый! Любовался на нее, как на красное солнышко!.. А хозяйка, знай, все одних девок родит... Что же это? Мало я ее учил за это дело?.. Которые померли, которые замуж повыданы... Вон девка одна осталась... Ба-арин!..

Он всхлипнул и забил себя в грудь.

— Конец ведь моему дому исделали, что ж я теперь буду? Мы ведь не отказываемся, угощение поставим по закону; зачем мы будем против мира капризиться?

С нар опять раздался ясный, громкий крик, и все смолкло. Я поспешил к Мавре. Она агонизировала, грудь тяжело и неровно вздымалась.

Ветер ударил в оконце избы, зазвенел склеенными газетою осколками стекол и взмыл по крыше к трубе. В трубе опять заворчало, и как-будто кто-то в ней зашевелился.

Афанасий, взлохмаченный, с красными глазами, сидел у печки, хитро посмеивался и глядел на нас. Вдруг он устремил глаза в землю, лицо его сделалось свирепым.

— Аа-а̀!—ахнул он и изо всей силы ударил кулаком в земляной пол.

— Батя, да будет тебе!—увещавала его измученная Донька.

Старик пробормотал:

— Ничего!.. О чем толк? Землю не прошибешь... Не прошибешь ее, матушку, она все стерпит!..

И с пьяным рыданием он припал к полу.

Донька, бледная, как призрак, сидела на лавке, уронив на колени тонкие руки. А ветер выл на дворе, и в трубе как будто плакал кто-то,—плакал старый, закоптелый дух погибающего дома... И казалось мне,—смертью и могильным холодом полна уже изба, и двигающиеся, корчащиеся призраки хоронят что-то, что давало им всем жизнь и смысл жизни.

III

Одинокий

Года через два, в начале сентября, мне снова пришлось быть в этих местах. Я ехал в телеге с одним дернопольским парнем, Николаем. Небо было в тучах, на полях рыли картошку, заросшие полынью межи тянулись через бурые, голые жнивья. На Беревской горе мы нагнали высокого, худого и лохматого старика. Он медленно шел по дороге, опираясь на длинную палку-посох. Заслышав телегу, старик посторонился и обратил к нам худое, продолговатое лицо.

— Дедушка Афанасий, здравствуй!—сказал я.

Он с недоумением прищурил подслеповатые глаза, потом узнал и оживился.

— Здравствуй, батюшка, здравствуй!

— Садись к нам, подвезем!

Старик взобрался на телегу.

Он сильно постарел и оброс, коричневая шея была покрыта сетью морщинистых трещин, седая бородка мешалась у висков с нависшими космами мочальных волос.

— Донька-то твоя умерла!—сочувственно обратился я к нему. Я уж слышал, что она неожиданно умерла тою же осенью, когда я ее видел в последний раз.

Афанасий медленно ответил:

— Померла. Который месяц под Покров бывает, в этот. В три дня испеклась.

— С чего же это?

— Кто же ее знает! Значит, смерть пришла.

— Как же ты теперь живешь? Один?

— Один, милый, один!—Старик подумал.— Один!—решительно подтвердил он.

— Тяжело тебе одному управляться!

— С чего тяжело?—По тонким губам Афанасия промелькнула юмористическая усмешка.—Лежишь на печке: жив,—стало-быть, слава богу! Помер,—смерть все одна! Чего ж мне? Только бы душу сообщить, а помирать все один будешь. Один, а не вдвоем. Помогать никто не станет,—помирать-то!

— Что ж, ты сам и печку топишь, и обед варишь?

— Сам. Кому же еще?.. Все один. Ни навить, ни подать некому; навьешь сена на телегу,—полезай, притаптывай; а потом опять— скок на землю!—дальше клади... Придешь домой,—корову подои, ужин справь...

Старик рассказывал, и на губах играла та же усмешка. Как-будто он забавлялся впечатлением, которое должны производить его слова.

— А народ пользуется,—помолчав, заговорил он.—В летошний год связать взяли по двадцать пять копеек с копны: он, говорят,

отдаст! Ему вязать некому. Раньше по двадцать пять копеек брали *сжать* копну, а теперь, видишь ты,—*связать!*... хреста нету. А не связал,—так и едут по твоему хлебу, нет, чтоб на межу своротить... «А он зачем,—говорят,—не убирает?» Всю рожь в землю втопчут.

Афанасий задумался.

— Намедни на работе был, прихожу домой: дверь изнутри на засов заперта, окно высадили. Топор скрали, недоуздок, хомут... С кого спросишь? До чужого никому дела нет. А сам нешто доглядишь? Все один. А двадцать-то рублей в год на подани отдай. На то не глядят, что борода чалая. Под окошко батожком: стук, стук! «Дедушка Афанасий, неси подань!..»

Он молча стал глядеть на далекие, подернутые дымкою жнивья, и в его взгляде была смиренная, нерассуждающая покорность. Мне вспомнилось,—совсем таким взглядом два года назад смотрела в летний сумрак Донька над Гремячим колодцем.

— Ну, тут слезать мне,—сказал Афанасий.—Вам кругом ехать, а я напрямик пойду, оврагом. Спасибо, батюшка, будь здоров!

Он слез и, опираясь на свою длинную палку, пошел к оврагу, за которым серела деревня. Высокий и иссохший, со спутанными, отросшими волосами, он выглядел пустынником, одичавшим в своем безлюдье.

Мой возница, Николай, прищурясь, смотрел ему вслед.

— Из волости идет, в холодной отсиживал,—сказал он.

— За что?

— За что? За подань! Что ж он справить может, такой-то? Где ему землю оправдать?.. Зажился дедка, чужой век живет!—неодобрительно прибавил Николай.

Вечером я вышел на крыльцо. Небо было в густых тучах, в темноте накрапывал теплый дождь. За ручьем мигали редкие огоньки деревни. Я вглядывался в нее, старался различить избу Афанасия. Но ничего не было видно. Только черные тучи медленно клубились над деревней, и между ними виднелись пятнистые, мутно-бледные просветы неба.

Этот старик сидит теперь в своей пустой избе. В ней пахнет холодною сажею. За нетопленою печкою ежится в темноте затравленный,

одичавший дух дома. А с улицы на развалюшку-избу холодно и враждебно смотрят другие избы, крепкие сознанием своего права на жизнь.

Черные тучи клубились и вздымались над деревнею. И казалось мне,—огромный темный дух наклонился над избою Афанасия. Тяжелою рукою он сдавил горло приникшего за печкою «дворного» и душит его—медленно, спокойно и беспощадно...

1902

ЛИЗАР

Солнце садилось за бор. Тележка, звякая бубенчиками, медленно двигалась по глинистому гребню. Я сидел и сомнительно поглядывал на моего возницу. Направо, прямо из-под колес тележки, бежал вниз обрыв, а под ним весело струилась темноводая Шелонь; налево, также от самых колес, шел овраг, на дне его тянулась размытая весенними дождями глинистая дорога. Тележка переваливалась с боку на бок, наклонялась то над рекою, то над оврагом. В какую сторону предстояло нам свалиться?..

Мой возница Лизар,—молчаливый, низенький старик,—втягивал голову в плечи, дергал локтями и осторожно повторял: «тпру!.. тпру!..»

— Как ты, дедка, не боишься? Ведь мы свалимся!—не выдержал я.

Я готовился услышать в ответ классическое: «небось!» Но Лизар неожиданно ответил:

— Свалимся, барин,—Христос-правда, свалимся!.. Как же не бояться? Уж то-то боюсь!

— Так ты бы на дорогу с'ехал.

— На дорогу! Увязнешь на дороге, горазд топко. Дожди-то какие лили! Погляди на Шелонь,—видишь, вздулась. Вода в ней свежая, чистая, что серебрина, а нынче вон как потемнела,—всю воду с болот взяла... «Не боюсь!»—повторил он, помолчав.—Уж так-то боюсь, ажно вспотел!

Он снял облезлую шапку и утер рукою лоб.

— А ты вот что, барин любимый! Слезай с тележки да вон до того яру через кустики и дойди. А я на дорогу спущусь, кругом об'еду.

Я сошел с тележки. Лизар оживился, задергал вожжами и покатил по откосу в овраг. Бубенчики закатились испуганным, прерывистым звоном; тележка прыгала по промоинам, Лизар прыгал на облучке и натягивал вожжи.

— Н-но, гамыры!—донеслось со дна оврага, словно из преисподней. Тележка, увязая в глине, потащилась в гору.

Я перебрался через овраг и пошел перелеском. По ту сторону Шелони, над бором, тянулись ярко-золотые тучки, и сам бор под ними казался мрачным и молчаливым. А кругом стоял тот смутный, непрерывный и веселый шум, которым днем и ночью полон воздух в начале лета.

Среди ореховых и ольховых кустов все пело, стрекотало, жужжало. В теплом воздухе стояли веселые рои комаров-толкачиков, майские жуки с серьезным видом кружились вокруг берез, птички проносились через поляны волнистым, порывистым летом. Вдали повсюду звучали девические песни,—была Троица, по деревням водили хороводы.

Я остановился на опушке, около межи. Когда стоишь так один, не шевелясь, лицом к лицу с природой, то овладевает странное чувство: кажется, что она не замечает тебя, и ты, пользуясь этим, вот-вот сейчас увидишь и узнаешь какую-то самую ее сокровенную тайну. И тогда все окружающее кажется необычным и полным этой тайны. Под зеленевшими дубами земля была усыпана темно-бурыми прошлогодними листьями; каждый лист шуршал и шевелился, какая-то скрытая жизнь таилась под ними; что это там,—лесные муравьи, прорастающая трава?.. И все кругом слабо шумело и шуршало, словно живое,—трава, цветы, кусты. Не замечая человека, все как-будто ожило и зажило свободно, не скрываясь.. Ветер мягко пронесся по матово-зеленой ржи и перебежал в осины. Осины зашептались, заволновались, с коротким шумом вздрагивая листьями; облако белых пушинок сорвалось с их сережек и, словно сговорившись с ветром, весело понеслось в темнеющую чащу.

Мне показалось, что справа кто-то смотрит. Я оглянулся. В десяти шагах сидели в траве два выскочившие из ржи зайца. Они сидели спокойно и с юмористическим любопытством глядели на меня. Как-будто им было смешно, что и я надеюсь проникнуть в ту тайну, которую сами они и все кругом прекрасно знают. При моем движении зайцы переглянулись и, не спеша, несколькими большими, мягкими прыжками, бесшумно отбежали к кустам ракитника; там они снова сели и, шевеля ушами, продолжали поглядывать на меня.

— О-го-го-го-ооо!—глухо донесся из-за ржи крик Лизара.

Я откликнулся. Зайцы снялись и стали удаляться неуклюже-легкими прыжками. Меж кустов долго еще мелькали их рыжие, горбатые спины и длинные уши. Я вышел на дорогу.

Мы поехали дальше. Солнце село, из лощин потянуло влажным холодком.

— Хорошо бы теперь чайку попить,—сказал я.

— Ну что ж! Вот приедем в Якоревку, и попьешь чайку,—ответил Лизар.—Ты, значит, чайку попьешь, отдохнешь, я пòходом коней покормлю, а там с холодочком и поедем дальше.

— А далеко до Якоревки?

Лизар удивился.

— До Якоревки-то? Да вон она!

Над рожью серели соломенные крыши деревни. Лизар встрепенулся и сильнее задергал вожжами. Мы в'ехали в узкую, уже потемневшую улицу, заросшую ветлами. Избы, как вообще в этих краях, были очень высокие, с окнами венцов на пятнадцать-двадцать от земли.

Лизар под'ехал к избе. Около нее на суке ивы висели веревочные качели. На высоком крылечке никого не было, в окнах было темно. Лизар остановил лошадей, задумчиво поглядел на качели и крикнул:

— Эй, кума Агафья! Нельзя ли на качелях позыбаться у тебя? Горазд качели хороши!

На крыльцо вышла высокая баба, прямая и худая, с сухим, строгим лицом.

— Кого говоришь?—спросила она.

— Самоварчик барину надобен, проезжающему... Будь здорова!

Баба внимательно оглядела меня с ног до головы.

— Здравствуйте... Сейчас сами отпили, можно наставить,—медленно ответила она.—Дунька!—позвала она так, как-будто Дунька стояла рядом с нею.—Подложи шишек в самовар!.. Сейчас готов будет тебе.

Из сеней выглянула девушка с широким лицом и бойкими глазами под черными бровями. Она с любопытством оглядела меня и исчезла.

Через десять минут на высоком крылечке кипел самовар. Я заварил чай.

Заря догорала. Легкие тучки освещались сверху странным полусветом надвигавшейся белой ночи. На улице, окутанной бледным сумраком, были жизнь и движение, с конца ее лилась хороводная песня. Громкие голоса, скрашенные расстоянием, звучали задумчиво и нежно:

Не на много время жизнь давалася,
За единый час миновалася...

В барском саду заливался соловей, оттуда тянуло запахом сирени и росистой свежестью сада. Ночь томила, в душе поднимались смутные желания. Становилось хорошо и грустно.

Под крыльцом послышался шопот. Мужской голос спрашивал:

— Ты что ж гулять не приходишь?

— А тебе что?—лукаво ответил голос Дуньки, тоже вполголоса.

— Что, что! Все девки в хороводе, а тебя нету. На кой они мне?.. Кто это у вас?

— Барин проезжающий чай пьет. Самовар ему наставляла я.

— Самовар?—Мужской голос вдруг перервался.—Само...вар?

— Пошел ты, дьявол!

— Нишкни! Идут!

Голоса смолкли. Лизар, засыпавший лошадям овес, поднялся на крылечко. Я достал бутылку, налил водкою рюмку и чашку. Предложил чашку Лизару. Лизар задвигал плечами, маленькие глаза под нависшими бровями блеснули.

— Ну, почеремонимся!—стыдливо усмехнулся он, быстро стащил с головы шапку и принял чашку.—Здравствуй!

Мы выпили, закусили. Стали пить чай. Лизар держал в корявых руках блюдечко и, жмурясь, дул в него. Хозяйка снова появилась на пороге, прямая и неподвижная. За ее юбку держались два мальчугана. Засунув пальцы в рот, они исподлобья внимательно смотрели на нас. Из оконца подызбицы тянуло запахом прелого картофеля.

Хозяйка тихо спросила:

— Разродилась сноха твоя?

— Разродилась,матушка,разродилась,—поспешно ответил Лизар.

— Мертвого выкинула?

— Зачем мертвого? Живого.

— Живого?.. А у нас тут баяли, мертвого выбросит. Старуха Пафнутова гомонила,—горазд тяжко рожает, не разродится.

— С чего не разродиться? За дохтуром спосылали!—Лизар улыбнулся длинной, насмешливой улыбкой.—Приехал, клещами ребеночка вытащил,—живого, вот и гляди.

Хозяйка покачала головой.

— Клещами!

— Делают не знамо что!—вздохнул Лизар.

— Как не знамо что?—возразил я.—Живого ведь вытащили, чего ж тебе? А не помог бы доктор, ребенок бы умер.

— «Живого», «живого»,—повторил Лизар и замолчал.—Так они нам ни к чему, ребята-то, ни к чему!.. Довольно, значит! Будет! И так полна изба. Чего ж балуются, дохтура беспокоят? Сами хлеб жевали-жевали, а дохтор приезжай к ним—глота-ать!.. Избаловался ныне народ, вот что! С негой стали жить, с заботой, о боге не мыслят. Вон бобушки *) по деревням ходят, ребят клюют; сейчас приедет фершалиха, начнет ребят колоть; всех переколет, ни одного не оставит. Заболел кто,—сейчас к дохтуру едет... Прежде не так было...

Лизар вздохнул.

*) Бобушками в Псковской губ. называют оспу.

— Прежде, барин мой жадобный, лучше было. Жили смирно, бога помнили, а господь-батюшка заботился о людях, назначал всему меру. Мера была, порядок! Война об'явится, а либо голод,— и почистит народ, глядишь—другим жить слободнее стало; бобýшки придут,—что народу поклюют! Знай, домовины готовь! Сокращал господь человека, жалел народ. А таперичка нету этого. Ни войны не слыхать, везде тихо, фершалих наставили. Вот и тужит народ землею. Что сталось-то, и не гляди! Выедешь с сохою на нивку, а что орать, не знаешь. Сосед кричит: «эй, дядя Лизар, мою полоску зацепил!» Повернулся,—с другого боку: «мою-то зачем трогаешь?!» Во-от какое стеснение!.. Скажем, куму взять.— Лизар кивнул на хозяйку.—Пять сынов у них, видишь? Ребята все малые, что паучки, а вырастут,—всех нужно произвести к делу... К делу нужно произвести! А земли на одну душу. Вот и считай тым разом,—много ли на каждого придется?

— Да так сказать, ничего и не придется,—поучающе сказала хозяйка.

Лизар развел руками.

— Ничего! На кой же они нужны! На сторону нам ходить некуда, заработки плохие!.. Ложись да помирай. По нашему делу, барин мой любимый, столько ребят не надобно. Если чей бог хороший, то прибирает к себе,—значит, сокращает семейство. Слыхал, как говорится? Дай, господи, скотинку с приплодцем, а деток с приморцем. Вот как говорится у нас!

Хозяйка сочувственно слушала Лизара и ласково гладила по волосам жавшихся к ней ребят.

— Губят нас, можно сказать, пустячные дела,—продолжал захмелевший Лизар.—Бессмертная сила народу набилась, а сунуться некуда, концов-выходов нету. А каждый на то не смотрит, старается со своей бабой... Э-эх! Не глядели бы мои глаза, что делается!.. Уж наказываешь сынам своим: быдьте, ребятушки, посмирнее,— сами видите, дело наше маленькое, пустячное. И понимают, а глядишь,—то одна сноха неладивши породит, то другая...

— И то сказать: не из соломы сплетёны,—вздохнула хозяйка.

— Тяжкое дело, тяжкое дело!—в раздумьи произнес Лизар.— А только я так домекаюсь, что бабам бы тут порадеть нужно, вот кому. Сходи к дохтуру, поклонись в ножки,—они учены, знают дело. Поклонишься,—дадут тебе капель. Ведь за это не то, что яичек,— гуся не пожалеешь. Как скажешь,—есть такие капли?—спросил Лизар, значительно и испытующе поглядев на меня.

Он говорил долго. А вдали звучали песни, и природа изнывала от избытка жизни. И казалось,—вот стоят два разлагающихся трупа и говорят холодные, дышащие могильной плесенью речи. Я встал.

— Пора ехать!

— И то пора!

Лизар суетливо поднялся и пошел к лошадям.

Заря совсем погасла, когда мы двинулись. Была белая ночь, облачная и тихая. У околицы еще шел хоровод, но он уж сильно поредел и с каждой минутой таял все больше. А в бледном полумраке,—на гумнах, за плетнями, под ракитами,—везде слышался мужской шопот, сдержанный девичий смех.

Из проулка навстречу нам вышла парочка. Молодцеватый парень с русой бородкой и девушка в красном платочке медленно переходили дорогу, тесно прижавшись друг к другу. С широкого, миловидного лица девушки без испуга глянули на меня глаза из-под черных бровей. Кажется, это была Дунька.

За околицей нас снова охватил стоявший повсюду смутный, непрерывный шум весенней жизни. Была уж поздняя ночь, а все кругом жило, пело и любило. Пахло зацветающей рожью. В прозрачно-сумрачном воздухе, колыхаясь и обгоняя друг друга, неслись вдали белые пушинки ив и осин,—неслись, неслись без конца, словно желая заполонить своими семенами весь мир.

Отдохнувшие лошади бойко бежали по дороге. Светло-желтый песок весело шуршал под колесами. Водка испарилась из головы Лизара, он снова примолк. Я со странным чувством, как на что-то чужое тут и непонятное, смотрел на него... Мы спустились в лощину.

— Тпру!.. Тпру!..—вдруг испуганно произнес Лизар. Он остановил у мостика лошадей, соскочил и стал торопливо привязывать сорвавшуюся с валька постромку. Шум тележки смолк.

Тогда меня еще сильнее охватила эта через край бившая кругом жизнь. Отовсюду плыла такая масса звуков, что, казалось, им было тесно в воздухе. В лесу гулко, перебивая друг друга, заливались соловьи, вверху лощины задумчиво трещал коростель; кругом, во влажной осоке, обрывисто и загадочно стонали жабы, квакали лягушки, из-под земли бойко неслось слабое и мелодическое «турррррррр»... Все жило вольно и без удержу, с непоколебимым сознанием законности и правоты своего существования. Хороша жизнь! Жить, жить,—жить широкой, полной жизнью, не бояться ее, не ломать и не отрицать себя,—в этом была та великая тайна, которую так радостно и властно раскрывала природа...

И среди этого таинства неудержимо рвущейся вширь жизни—он, сжавшийся в себе, с упорными думами о собственном сокращещении!.. Царь жизни.

1899

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «НЕДРА»

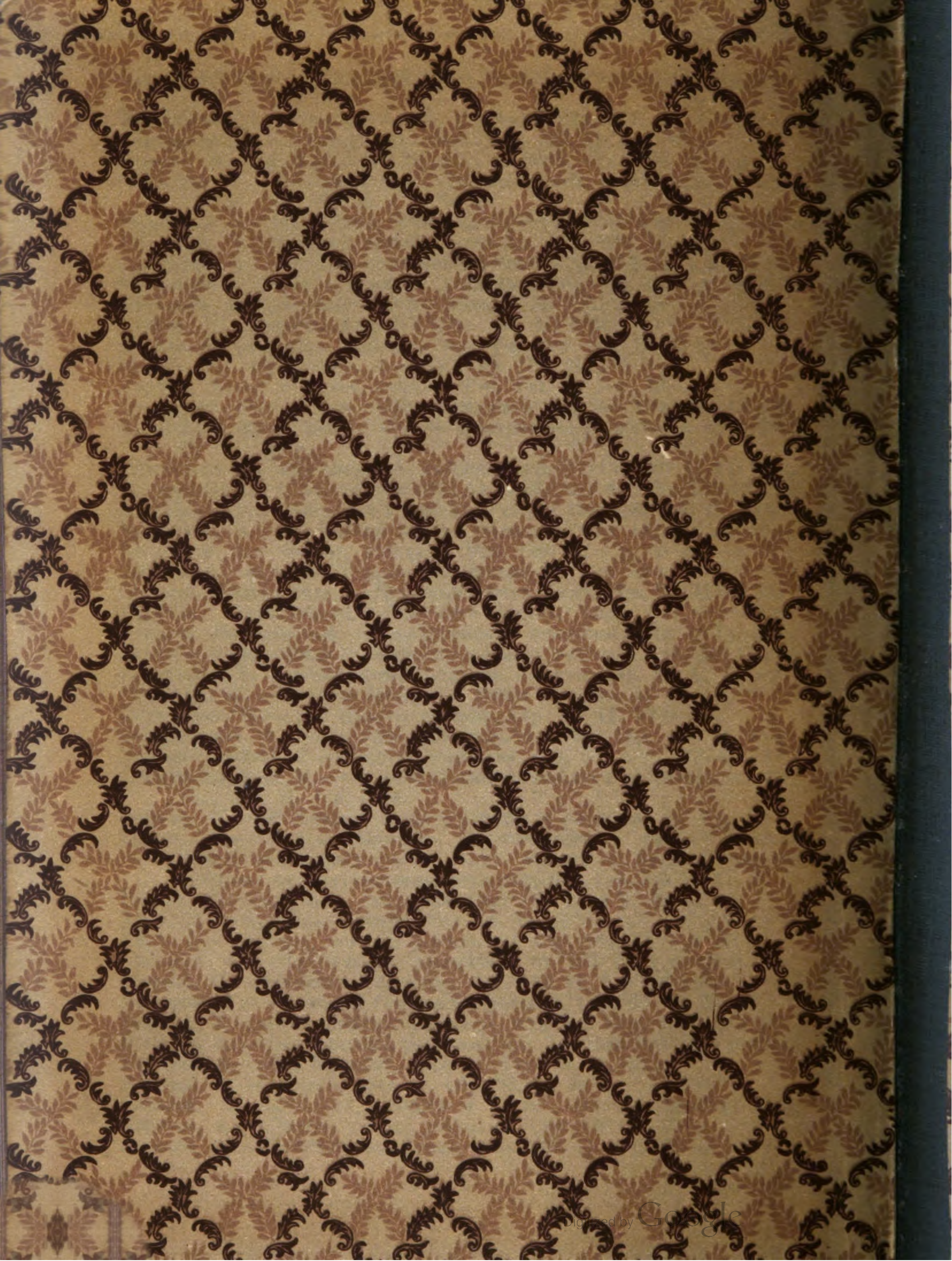
Редакция и Правление: Старая площ., 10. Телеф. 5-82-18.

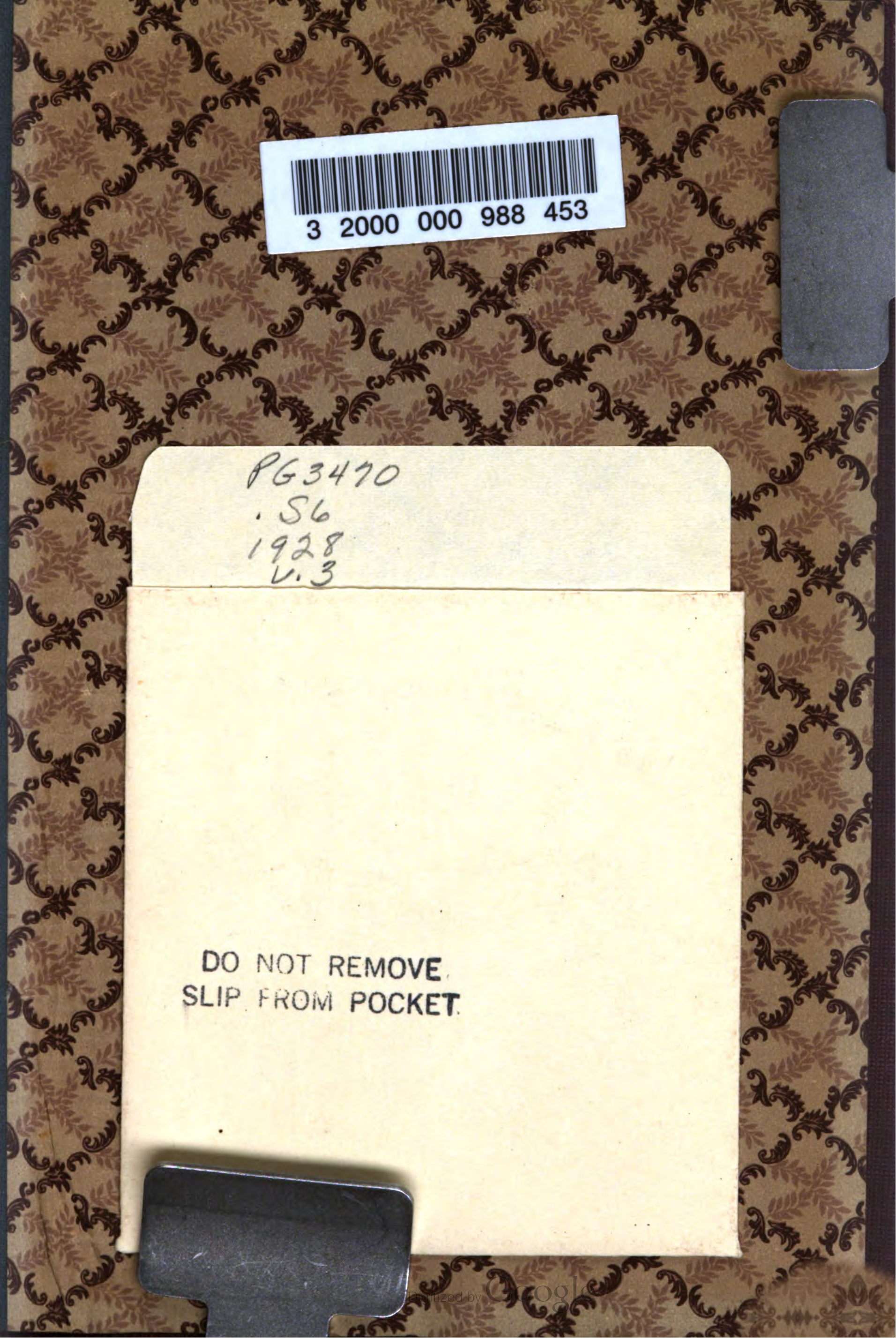
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

РУССКАЯ

Алексеев, Глеб.—«Горькое яблоко», рассказы. Стр. 143. Ц. 1 р. 35 к.
Алексеев, Глеб.—«Свет трех окон», рассказы. Стр. 144. Ц. 1 р. 40 к.
Бахметьев, В.—«На земле», рассказы. Стр. 130. Ц. 80 к.
Бибик, А.—«К широкой дороге», роман, изд. 7-е. Стр. 304. Ц. 2 р. 25 к.
Бибик, А.—«На черной полосе», роман, изд. 6-е. Стр. 224. Ц. 1 р. 90 к.
Бибик, А.—«Старый токарь», рассказы, книга 1-я. Изд. 2-е. Стр. 190. Ц. 1 р. 50 к.
Бибик, А.—«Жесткая учеба», рассказы, книга 2-я. Изд. 2-е. Стр. 187. Ц. 1 р. 50 к.
Бибик, А.—«Новая Бавария», повести и расск. Стр. 224. Ц. 1 р. 80 к.
Булгаков, М.—«Дьяволиада», рассказы, изд. 2-е. Стр. 160. Ц. 1 р. 50 к.
Вересаев, В.—«В тупике», роман, изд. 5-е. Стр. 237. Ц. 2 р.
Вересаев, В.—«Два конца», повесть, изд. 3-е. Стр. 136. Ц. 1 р. 30 к.
Вересаев, В.—«В юные годы» (воспоминания). Стр. 218. Ц. 2 р. распр.
Вересаев, В.—«В юные годы» (воспоминания). Издание для юношества. Стр. 137. Ц. 1 р. 70 к.
Вересаев, В.—Тоже, в папке. Ц. 1 р. 95 к.
Вересаев, В.—«Живая жизнь», ч. I. О Достоевском и Льве Толстом, изд. 4-е. Стр. 237. Ц. 2 р. 25 к.
Вересаев, В.—«Живая жизнь», ч. II. «Аполлон и Дионис» (о Ницше), изд. 2-е. Стр. 137. Ц. 50 к.
Вересаев, В.—«Что нужно для того, чтобы быть писателем?» (Лекция для литературной студии), изд. 2-е. Стр. 37. Ц. 25 к.
Вересаев, В.—«Об обрядах старых и новых» (к художественному оформлению быта). Стр. 31. Ц. 25 к.
Вересаев, В.—«Записки врача», изд. 11-е. Стр. 184. Ц. 1 р. 50 к.
Вересаев, В.—«Пушкин в жизни» (Систематический свод подлинных свидетельств современников). Вып. I, изд. 3-е дополненное. Стр. 171. Ц. 1 р. 75 к.
Вересаев, В.—«Пушкин в жизни». Вып. II, изд. 3-е дополненное. Стр. 187. Ц. 1 р. 85 к.
Вересаев, В.—«Пушкин в жизни». Вып. III, изд. 3-е дополненное. Стр. 160. Ц. 1 р. 75 к.
Вересаев, В.—«Пушкин в жизни». Вып. IV. Изд. 2-е. Стр. 200. Ц. 2 р.
Вересаев, В. Гесиод. «Работы и дни».—Земледельческая поэма, пер. с древ. греческ. Стр. 88. Ц. 1 р. 20 к.
Вересаев, В.—«Гомеровы гимны», перевод с древне-греческого. Стр. 96. Ц 1 р. 10 к.
Веселый, Артем.—«Страна родная», роман, изд. 2-е. Стр. 200. Ц. 1 р. 40 к.
«Времена года в русской поэзии». Сборник стихотворений под ред. Н. Ангарского. Рисунки художника Д. Мельникова. С вступительной статьей В. Голубкова. Стр. Стр. 185. Ц. 70 к.
Герасимов, М.—«Покос», стихи и поэмы. Стр. 105. Ц. 1 р. 25 к.
Грин, А. —«Гладиаторы», рассказы. Стр. 212. Ц. 50 к.
Губер, А.—«Соседи», рассказы. Стр. 158. Ц. 70 к.
Дроздов, А.—«Маруся золотые очи», роман. Ц. 1 р. 10 к.
Завадовский, Л.«Вражда», рассказы, изд. 2-е. Стр. 155. Ц. 1 р. 25 к.
Завадовский, Л.—«Песнь седого волка», рассказы. Стр. 176. Ц. 1 р. 30 к.

Завадовский, Л.—«Железный круг», повести и рассказы. Стр. 222. Ц. 1 р. 70 к.
Завалишин, А.—«Первый блин», рассказы. Стр. 111. Ц. 40 к.
Завалишин, А.—«Пепел», рассказы. Стр. 182. Ц. 1 р. 45 к.
Иванов, Вс.—«Возвращение Будды», повесть. Стр. 160. Ц. 1 р.
Кириллов, В.—«Весенний свет», стихотворения, книга первая 1913—1923 г. Стр. 148. Ц. 1 р. 50 к.
Кириллов, В.—«О детстве, море и красном знамени». Стр. 48. Ц. 50 к.
Крутиков, Д.—«Старый хмель», рассказы. Стр. 159. Ц. 80 к.
Крутиков, Д.—«Черная половина», роман. Стр. 164. Ц. 1 р. 25 к.
Крутиков, Д.—«Люди конные», рассказы. Стр. 196. Ц. 1 р. 30 к.
Крутиков, Д.—«Кудеяров вир», повесть. Ц. 1 р. 25 к.
Ляшко, Н.—Повести, изд. 2-е. Стр. 163. Ц. 1 р.
Ляшко, Н.—Радуга», рассказы, изд. 2-е. Стр. 112. Ц. 75 к.
Ляшко, Н.—«В разлом», повесть. Стр. 124. Ц. 1 р.
Ляшко, Н.—«С отарою», повесть. Стр. 150. Ц. 1 р. 10 к.
Никандров, Н.—«Рынок любви», рассказы, изд. 3-е. Стр. 283. Ц. 1 р.
Никандров, Н.—«Любовь Ксении Дмитриевны», рассказы. Стр. 214. Ц. 1 р. 40 к.
Никандров, Н.—«Весельчаки», рассказы, изд. 3-е. Стр. 207. Ц. 1 р. 75 к.
Никандров, Н.—«Все подробности», рассказы, изд. 6-е. Стр. 237. Ц. 2 р.
Обрадович, С.—«Винтовка и любовь», стихи 1921—23 год. Ц. 70 к.
Перегудов, А.—«Человечья весна», рассказы, Стр. 143. Ц. 1 р. 10 к.
Перегудов, А.—«Баян», рассказы. Стр. 120. Ц. 1 р. 05 к.
Петров, А.—«Счастье Горелкина», роман. Ц. 1 р. 20 к.
Романов, Пантелеймон.—«Дружный народ», расск. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 35 к.
Романов, Пантелеймон.—«Хорошие места», расск. Ц. 1 р. 35 к.
Романов, Пантелеймон.—«Заколдованные деревни». расск. Ц. 1 р. 35 к.
Романов, Пантелеймон.—«Черные лепешки», рассказы. Стр. 250. Ц. 2 р.
Ряховский, В. —«Сокращение штатов», повесть. Стр. 96. Ц. 65 к.
Садофьев, И.—«Простей простого», стихи и поэмы. Ц. 75 к.
Светозаров, В.—«Три стены», рассказ. Стр. 43. Ц. 20 к.
Серафнмович, А.—«Ледоход», рассказы, изд. 2-е. Стр. 131. Ц. 90 к.
Сергеев-Ценский, С.—«Недра», рассказы, изд. 3-е. Стр. 173. Ц. 75 к.
Соколов-Микитов, И.—«Чижикова лавра», повесть и рассказы, изд. 2-е. Стр. 208. Ц. 1 р. 50 к.
Тверяк, А.—«У лесного озера», повести и рассказы. Ц. 1 р. 65 к.
Тренев, К.—«Любовь Яровая», «Пугачевщина», пьесы. Полные тексты постановок Госуд. Акад. **Малого и Художественного** театров с художественными фотографиями. Стр. 212. Ц. 1 р. 80 к.
Тренев, К.—«Батраки», рассказы. Стр. 175. Ц. 1 р. 40 к.
Хаит, Д.—«Бурьян», повесть. Стр. 95. Ц. 55 к.
Хаит, Д.—«Кровь», повести и рассказы. Стр. 163. Ц. 1 р. 30 к.
Чапыгин, А.—«Плаун-цвет», рассказы. Стр. 160. Ц. 1 р. 15 к.
Ширяев, П.—«Цикута», рассказы. Стр. 142. Ц. 1 р. 20 к.
Яблочков, Г.—«Товарищ Полетаев», рассказ. Стр. 64. Ц. 20 к.
Яковлев, А.—«Повольники», рассказы, изд. 3-е. Стр. 157. Ц. 1 р.
Яковлев, А.—«Без берегов», рассказы, изд. 3-е. Стр. 188. Ц. 1 р. 60 к.
Яковлев, А.—«Без берегов», рассказ. Стр. 47. Ц. 40 к.
Яковлев, А.—«Дикой», рассказ. Стр. 58. Ц. 35 к.
Яковлев, А.—«Счастье», повести и расск., изд. 3-е. Ц. 1 р. 50 к.
Яковлев, А.—«Лесная тайна», рассказы. Стр. 136. Ц. 90 к.
Яковлев, А.—«Победитель», роман. Стр. 240. Ц. 1 р. 80 к.




3 2000 000 988 453
PG3470
.S6
1928
v.3
DO NOT REMOVE
SLIP FROM POCKET

